

Николай Семенович Лесков

**Из одного дорожного
дневника**

**Николай Семенович Лесков
ИЗ ОДНОГО ДОРОЖНОГО
ДНЕВНИКА**

6-го сентября 1862 года.

Известный господин фон Шнабелевопский уверяет в своих записках, что его мистическое стремление к осуществлению аграрных законов в новейшей форме произошло не вследствие некоторых особенностей его породового развития. Он объясняет в себе это стремление тем, что его родительница, нося его в своем чреве, постоянно читала Плутарха и, может быть, заинтересовалась одним из его великих мужей. Господин фон Шнабелевопский полагает, что если бы в этот многозначительный период матушка его читала жизнеописание Картуша, то он, может быть, сделался бы знаменитым банкиром, а сделавшись известным банкиром, г. фон Шнабелевопский, разумеется, мог бы быть и министром финансов; но в то время, как г. фон Шнабелевопский писал свои поучительные записки, знаменитый парижский банкир г. Фульд не был знаменитым министром. Высокие мнения г. фон Шнабелевопского имели на меня такое большое влияние, что я перестал смотреть на людей как на независимых, самостоятельных деятелей и все их поступки,

нравы и направления объясняю обстоятельством, происходившими во время их рождения. Впоследствии, когда я прочел Тристрама Шенди, я еще более утвердился в сказанном положении и теорию Роберта Оуэна ставлю выше всех известных и не известных мне уголовных кодексов. Несчастное чтение записок г. фон Шнабелевского и еще более Тристрама Шенди сделало меня в известном смысле фаталистом. Оно также развило во мне терпимость, вследствие которой я с одинаковым спокойствием наблюдаю деяния банкиров и хлопоты о введении между ангелами, населяющими землю, новых аграрных законов, отчего, впрочем, хлеб непременно вздорожает. Но это же чтение причинило мне очень много совершенно лишних забот. Когда я встречаюсь с новыми людьми, я впадаю в ужасное беспокойство, потому что меня сейчас же начинает мучить вопрос: что читали их матери в то время, когда были ими беременны? Разрешение этого вопроса в некоторых странах должно быть очень затруднительным, и я не знаю, что было бы со мною до сих пор, если бы я родился не в России. Россия мне необык-

новенно мила тем, что в ней я могу гораздо легче определять, каких авторов читали матери моих земляков. У нас лица для этого необыкновенно удобны. Особенно утешает меня выразительность лиц московских и киевских. По рельефности этих выражений я давно решил, что матери современных москвичей во время беременности или ничем себя не беспокоили, или же всего внимательнее просматривали “Московские полицейские ведомости”. Киевские же, наоборот, страдали всегдашним беспокойством и проводили время за “Сандрильоною”. Волынские матери читают календарь, издаваемый в Бердичеве отцами-кармелитами или бернардинами, орловские — “Евгения Онегина” и киевские святцы, а курские — киевские святцы и “Евгения Онегина”. Камень преткновения для меня всегда находился в Петербурге. Очевидно, что матери наехавшего сюда населения что-то читали; но что такое они читали, нося залоги супружеской любви, я этого никогда отгадать, верно, не мог. То же самое могу сказать и об окрестностях нашей милой столицы. Всякая поездка из Петербурга меня му-

чит, и я успокаиваюсь только в Москве, когда понесет съестным. Вот, например, теперь, в купе, которого $\frac{1}{8}$ часть я приобрел за 14 сребреников, от Петербурга до Вильна, есть одна барыня, сидящая со мною нос против носа, немец, сидящий рядом с барыней; священник, сидящий рядом со мною против немца, и четыре француза. Когда они взошли и уселись — я не заметил, потому что уселся раньше всех и тотчас, усевшись, впал в то моральное и физическое бездействие, которое, как известно, итальянцы называют *dolce far niente*. [1] Странность состава моей компании я заметил только тогда, когда вагон качнулся, и послышалось несколько прощальных возгласов: “*adieu*, [2] прощайте, *do zobaczenia!* [3]” Немец ничего не кричал, и этой скромностью заслужил некоторое мое внимание. Зато другие — Господи! что же это за варварство! Французы говорили все вместе и каким-то образом понимали друг друга, а дама, сидящая против моего носа, не медля ни единой минуты, обратилась к немцу с вопросом:

— Который теперь час?

Едва немец успел ответить, дама поверну-

лась к священнику.

— Вы до Варшавы, батюшка?

— Нет-с, ближе.

— До Вильна? — пристает дама.

— Еще ближе-с, — отвечает, улыбаясь, священник.

— В Псков?

— Ближе-с, ближе, — говорит священник.

— В Гатчино?

— Дальше-с.

— Верно, на небо отправляется, — говорит дама по-французски и исключительно обращаясь ко мне. Плохо, подумал я, доходит и до меня очередь.

— А вы тоже ни близко, ни далеко?

Вопрос прямо идет к моей персоне, и на французском диалекте.

— Я еду дальше батюшки, — отвечал я моей соотечественнице по-русски.

— Они так могут подумать, что вы едете превыше небес, — подсказал священник спокойным и ровным голосом, но немножко улыбаясь.

Дама не покраснела, а все-таки как-то смешалась.

— Вы, конечно, не сердитесь за шутку, — сказала она, обращаясь с французскою фразою к священнику.

— Нет-с, за что же? Шутка никому не вредит, — отвечал священник на французско-латинском языке.

— Вы, верно, служите при каком-нибудь посольстве? — опять допрашивает дама.

— Нет-с, я служу при — ском институте.

— Ах! — ские институтки удивительно выдержаны. Просто прелесть, чудо, чудо, что такое.

Священник молчит.

— Вы, верно, не согласны со мною? — говорит барыня.

— Я ничего не сказал-с.

— Да промолчали.

— Да-с, промолчал.

— А молчание...

— Знак согласия, говорят, — подсказал священник.

— Хитрите, батюшка!

— Это как вам угодно.

— А, правда, что у нас женщины более образованы, чем мужчины?

— Как-с?

— Правда, что наши женщины образованы более чем мужчины? — повторила дама.

— Я об этом не думал как-то, — отвечал священник.

— А вы думали об этом или нет? Э!! да вы, кажется, спать хотите?

— Да, я хочу спать, — отвечал я довольно жалобным голосом.

— Нет-с, это невозможно!

— Как невозможно?

— А так! невозможно спать, сидя против женщины.

— Вы преподаете в институте? — обратилась затем дама к священнику.

— Да-с, закон Божий.

— Я очень уважаю религию, — отозвалась дама.

Священник сделал “мм” и ничего не сказал.

— То есть, понимаете, я не биготка, не фанатичка, я уважаю чистую религию и для того сына моего отдала в училище правоведения, чтобы был... ну, понимаете, не то, что из университетов выходят. Я даже отдала бы его

В ваш институт, — прибавила дама, весело расхохотавшись, — да не примут.

— Да, в институт не примут, — сказал священник.

Я готов был думать, что родительница моей соседки, увлекалась сочинениями эпикурейцев.

Немец оскалил зубы и проговорил: “О, никак нельзя”.

— А знаете, батюшка, — продолжала соседка, — я вам скажу; вот это может показаться странным, но все равно, я у вас исповедоваться не буду...

— Сударыня, здесь много людей, — заметил священник на своем французско-латинском наречии.

Французы обернулись и порскнули сдержанным смехом: им, вероятно, показалось, что люди на сей раз Бог весть чему помешали. Священник покраснел и завернулся в воротник своей рясы.

— Что же люди? Я это могу сказать пред целым миром. Отчего такая несправедливость? Отчего мужчине позволено все... понимаете, все... а женщину клеймят за всякое

увлечение? Нет, это гадко, это просто... подло.

Никто ничего не отвечал.

— А вы, кажется, опять спите? — обратилась ко мне дама.

— Нет-с, я слушаю, — отвечал я.

— Кого?

— Всех.

— И меня?

— Зачем же для вас исключения.

— Что же вы думаете?

— О чем, смею спросить? Говорено было много.

— Фуй! да вы, кажется, бестолковы?

— На некоторые вещи бестолков.

— Ну, что вы думаете о правах женщины?

— То есть о ее правах увлекаться?

— Ну да.

— Что ж, пусть увлекается, если хочет.

— А вы будете бросать в нее камнями?

— Зачем же?

— Так уж заведено.

— Я говорю о себе, а не о заведении.

— А уж вас, батюшка, и не спрашиваю.

— За что я вам, сударыня, и сердечно благодарен.

— А можно ли, однако, по-вашему, прощать увлечения?

— Прощать должно все, — отвечал священник.

— Значит, вы извиняете женщину более, чем наши моралисты.

— Извините, я сказал о прощении, а не об извинении.

— Ах! я и не заметила этой тонкости.

— Женщина совсем не то, что мужчина, — проговорил немец.

— Юбку вместо панталонов носит и чинов не получает? — задорно спросила дама.

— Ну, не только это. Есть различные другие такие обстоятельства.

— Par exemple?[4]

— Ну, семейство.

— А! чужое дитя, как говорят, введет в семью!

Немец сконфузился.

— Это, что ли, вы хотели сказать?

— Я хотел... да, то есть, видите.

— Ну, да это самое?

— Да не это.

— А у вас не бывает детей, чужих для ва-

ших жен?

Немец совсем загорелся.

— Говорят: первая любовь бывает самая сильная, — обратилась дама ко мне, оставив конфузливое немца.

— Говорят, — отвечал я.

— А вы как думаете?

— Да это как до человека.

— То есть для одного да, для другого нет?

— Да.

— Ну, а, по-вашему, как?

— По-моему, один раз полюбивши, пожалуй, и в другой полюбишь.

— Прекрасно! Ну, а разлюбить можно?

— Это опять как кому.

— А вам?

— Я, право, об этом не думал. — Эта дребедень, однако, становилась утомительною. На пятой станции я нашел место в соседнем купе и заснул сном невинного младенца, оставив батюшку и немца на жертву представительнице нашей гнилой эмансипации, но в пятом часу меня там зато нашла моя дама.

7-го сентября.

Не понимаю, чего жалуются на Главное об-

щество? Вагоны прелестные, я спал мягко и растянувшись во весь свой рост. Буфеты опрятные, цены дешевле, чем на Московской дороге. За папиросу здесь берут две копейки, а там пять; за бутылку пива двадцать копеек, а там даниельсоновское пиво продают по 30 коп. В Динабурге пиво особенно вкусное; я его рекомендовал генералу, который сидел около меня за столом, и тот остался отменно доволен “сим здоровым напитком”, как называет пиво г. Крон.

— А как вы хорошо говорите по-русски! — заметил мне генерал после того, как я заявил свое удовольствие, что динабургское пиво нравится его превосходительству.

— Неудивительно, — отвечал я, — тридцать годочков живу на русской земле.

Генерал посмотрел на меня инспекторским взглядом и с видимым недоверием спросил: “Да вам всего-то сколько лет?”

— Да тридцать лет.

— Так вы в России родились?

— В — ской губернии.

— Да, но все-таки вы ведь француз?

— Происхожу от бедных, но честных роди-

телей, вышедших из благословенной семьи православного духовенства.

Генерал хлебнул пива, затянулся папироскою и повернул голову в сторону.

— А ваше превосходительство, отчего думали, что я француз? — решил я побеспокоить генерала.

— Как-с? — спросил он меня, обратясь как бы с испугом.

Я повторил вопрос. Генерал потянул верхнюю губу, обтер ус и сказал: “Так, право, и сам не знаю, показалось что-то”.

Сколько уже раз я был оскорблен таким образом! Еще недавно один дворник в Петербурге три месяца уверял моего слугу, что я француз и с известной стороны субъект весьма подозрительный. В Орловской губернии, назад тому года три, бабы тоже заподозрили меня в иностранстве. Ехал я домой на почтовых, одевшись как следует, т. е. “по-немецки”. Подошла большая гора, “дай, думаю, пройду под гору и взойду на гору”. Схожу с горы, а под горой, около мостика, три бабы холсты колотят. Только что поравнялся с ними, гляжу, одна молоденькая бабочка и бежит, в од-

ной руке валец, а другою паневу на бегу подтыкает.

— Ей ты! слышь, ей! постой-кась! Постой, мол, говорю, — кричит баба.

Смотрю — никого, кроме нас двоих, на мосту нет. “Какое, думаю, дело до меня бабе?” Остановился.

— Постой, мол, — кричит баба, совсем приближаясь ко мне.

— Ну, стою. Чего тебе?

— Ты чего покупаешь?

— Я-то?

— Да чего покупаешь: не пиявок часом?

— Каких пиявок?

— Известно каких: хорошие есть пиявки.

— Да на что мне твои пиявки?

— Аль ты не жид? — спрашивает меня баба, глядя подозрительно.

— Какой жид? с чего ты вздумала?

— Ой!

— Какой жид? Бог с тобой.

— И пиявок тебе не требуется?

— На что мне твои пиявки?

— Поди ж ты! — Баба огорчилась, бросила валец на мост и, шмыгнув рукою под носом,

сказала с сожалением: “А тетка Наташка баит, беги, баит, Лушка швыдче, вот тот жид идет, што пьявок покупает. Экое горе!” — добавила баба с горьким соболезованием, что я не жид и не покупаю пьявок.

Между пассажирками с разных станций, начиная от Динабурга, беспрестанно появляются дамы в траурных платьях. Прислуга на станциях уже говорит по-польски.

8-го сентября. Вильно.

Вчера вечером, опоздав полчаса, поезд наш явился в Вильно. Амбаркадер железной дороги здесь еще окончательно не отделан, холодно, везде ходит ветер, прислуга суетится, и порядка ни в чем нет. Меня на станции встретил мой добрый знакомый, и я уехал к нему, потеряв всякую надежду добраться до своего багажа; но зато не лишаясь надежды, что мои вещи провезут до Ландварова. Это здесь, говорят, бывает.

8-го сентября, вечером.

Я немного не застал похорон Сырокомли, любимого из современных польских поэтов. Его схоронили три дня тому назад. На погребении его было почти все Вильно. Из речей,

сказанных над гробом покойного, замечательнее прочих речь литератора Вицентия Коротынского, бывшего искренним приятелем Сырокомли и теперь занятого составлением его биографии. Бедная семья Сырокомли имеет несомненных друзей в Тышкевиче, Кирнере, Круповиче, Бондцкевиче и Коротынском. Они намерены содействовать вдове поэта к изданию его сочинений, и редакция "Kurjera Wileńskiego", вероятно, найдет средства как-нибудь устроить сирот талантливейшего из своих сотрудников, пока литовское общество поймет свою обязанность не останавливаться на одних сетованиях об утрате своего поэта и не почтит своим вниманием сирот певца скорби и любви, нуждающихся в воспитании, на которое нет средств у их матери. Сырокомлю знают не только в Литве и Польше, но и вообще во всех славянских землях, и где его знали, там его любили за его симпатический талант и неуклонно честное направление. Он никогда не искал ничьих милостей и очень мало заботился или, лучше сказать, совсем не заботился о своей репутации. Он не обладал искусством маскировать-

ся и не умел скрывать своих слабостей, которые, впрочем, не приносили никакого вреда никому, кроме самого покойного, много и много пострадавшего в своей жизни. Сколько я могу судить по слышимым теперь рассказам о Сырокомле, у него было очень много общего в характере и нраве с покойным Тарасом Григорьевичем Шевченком, но положение его в Вильне было гораздо тяжелее положения Шевченки в Петербурге. Здесь, как вообще в небольших городах, люди необыкновенно строги к другим, и их благонамеренные рты хуже гильотины для всякого доброго имени. Сырокомля же, как я сказал, не был ни дипломатом, ни человеком светским, его дошибало горе, и он коротал его, как умел и как мог. Этого ему не прощали и теперь еще не прощают местные прюдеристы. Не очами виленских денди он смотрел на свое святое призвание. Страдая от нужды и горя, страдая от своих слабостей и от слабостей других, он постоянно верил, что

*Nie poeta, kto śpiewa i patrzy
Czy słuchają, czy patrzą słuchacze;
Lecz kto pierśmi do ziemi*

przypadłszy
Sam dla siebie śmieje się i płacze.
Nie poeta, co stojąc na górze
Z pycha stroi pieśniarskie narzędzie,
Struny porwą, rozszarpią mu burze
I nic z pieśni sławionej nie będzie.
Lecz poeta, co kląkł po cichutku
Jak pokutnik światowy i boży,
Co łze swojej radości i smutku
Na wilgotnej swój ziemi położy.
Bo z lez gorzkich wyrośnie,
wykwitnie
Piolun gorzki, co służy na zdrowie;
Uśmiech w klosy przemieni się żytnie,
Z których chleb swój wypieką
wnukowie.
Szczatki ojców, co mieści ta gleba,
On westchnieniem wywoła, wyświeci,
Aby oprócz powszednich brył chleba
Chleb duchowy szedł z ojców na
dzieci.

Граф Тышкевич пригласил меня завтра в двенадцать часов посмотреть музей, устроенный в Вильне его стараниями. Вечером я ездил с моим родственником по городу. Вильно мне очень нравится. Ходил на Крестовую гору и на остатки башни разрушившегося замка.

На этой башне теперь надстроена деревянная будка, а на будке крепостной флаг. То, что называется в Вильне крепостью, едва ли в самом деле имеет какое-нибудь право на это название; но в настоящее время она, действительно, недоступна. Не без труда мы нашли возможность взойти на Замковую гору, с которой открывается великолепный вид на весь город и его окрестности. Провожавший нас солдат говорил о каком-то необыкновенно интересном формуляре “крепости, который офицеры как приедут, все читают”. Там, он говорит, есть что-то такое, чего нигде не описано, и о розах, которые цвели в день Рождества Христова, и о других интересных вещах; но из рассказа гарнизонного чичероне мы ничего путем не поняли, а документа, который все “офицеры как приедут, так и читают”, мне прочесть не удалось. Из отдельных частей укрепления наибольшим вниманием пользуется, кажется, 14-й номер да ботанический сад, который находится в крепости и в который никому, кроме начальства, ходить не дозволяется. Обоих этих интересных мест я и не видел.

Вечером поехали втроем на фольварок Бурбишки, к редактору “Kurjera Wileńskiego”. Там были главные сотрудники газеты. Толковали о положении издателей, о литературном труде, кое-что прочли, кое-что вспомнили, кое о чем пожалели. За ужином выпили тост за процветание русской литературы и за здоровье русских литераторов. Ночь прошла незаметно. Завтра уговорились сойтись вечером у моего гостеприимного хозяина, чтобы вместе дождаться петербургского поезда, который придет в два часа ночи. Радужный прием, который я встретил у виленских литераторов, обязывает меня искреннею благодарностью им.

Погода сильно испортилась. Дождь льет как из ведра, и дует холодный петербургский ветер.

9-го сентября.

Сделал визиты моим новым знакомым; потом ездил с моим хозяином в Верки, село, лежащее в семи верстах от Вильна и принадлежащее гр. Витгенштейну. Дорога в Верки лежит по лесу, в котором очень много каменных часовен с весьма плохими картинами и

надписями из Евангелия на польском языке. Таких часовен здесь, говорят, 80; но я видел только 5 или 6. На пятой, кажется, версте дача митрополита виленского, и здесь кончается шоссе. Далее идет грунтовая дорога до самых Верок. Въезд к Веркам снова шоссирован. Вид из сада на луговую сторону реки прекрасный, но небольшой. В доме Витгенштейна замечательного видел только мастерски написанный семейный портрет, одну картину работы Айвазовского, две фигурки из глины да невероятной величины латы одного из Радзивиллов, с которым теперешний владетель состоит в родстве. Потом ездил смотреть тоннель, построенный генералом Лундом, а потом обедал в польском трактире; обед дали возмутительно гадкий.

Забыл сказать о виленском музее. Он очень невелик. Две залы, в которых собраны и антики, и несколько зоологических экземпляров, и исторических памятников монет. Замечательнее всего портреты, которых здесь немало. Между ними есть портрет Мицкевича в молодых его летах, Марины Мнишек, Стефана Батория и многих других известных

в истории Польши лиц.

Очень жаль, что ни граф Тышкевич, ни г. Крупович не позаботятся сделать с этих портретов фотографических копий, которые можно было бы продавать в пользу музея, очень нуждающемуся в средствах. Музей этот своим существованием обязан графу Тышкевичу и только в недавнее время пользуется некоторою поддержкою со стороны нашего правительства. В тот день, когда я был в музее, он был полон народом. Особенно много было дам и детей. До сих пор я еще не видал ни разу такого огромного собрания женщин в сплошном трауре. Кроме черного пудесуа и черного ситца с белыми цветочками не видно ничего. В пяти или шести местах видел казаков квартирующего в Вильне полка. Трое из них в верхней зале стояли у большого зубра. Чучело очень хорошо сделано, но, до перенесения его сюда, оно стояло в губернаторском саду, и там в нем от сырости завелась моль, которой теперь никак не изведут. Чучело это нужно считать совершенно погибшим и вредным для музея, потому что от него может расплодиться моль и попортить другие чучела,

стоящие в том же зале.

— Ха, ха, ха, — разделся сзади нас громкий хохот.

Я оглянулся. Молодой казак покатывался со смеха.

— Т-с, ты, пострел! — удерживал его другой, дергая за рукав шинели и в то же время сам едва удерживаясь от смеха.

— Гляди! гляди, — опять вполголоса сказал молодой казак и опять порскнул в рукав.

Я снова оглянулся, и вижу, что во рту у зубра торчит коротенькая солдатская трубочка. Казаки сначала как бы сконфузились, но потом, видя мое смирение, тотчас же оправились.

— Курит, — сказал, смотря мне в глаза, толстый белобрысый казак с клиноватою бородою.

— Да он курит, а тебя за это выведут вон, — отвечал я покойно.

Казак сделал недовольную мину.

— Небось не выведут, — сказал он, вынул из рта у зубра трубку и пошел прочь, а за ним пошли и другие.

В Вильне очень замечательна одна коло-

колья, построенная, так же как и крепостной флашток, на остатках древней башни. Остатки эти, служащие основанием колокольни, очень крепки и характеристичны, но кому-то пришла несчастная мысль их заштукатурить, не обравняв стен, и вышло Бог знает что за уродливая штука! Интересно было бы знать, в каких видах эта штукатурка признавалась полезною или нужною, и когда придет мысль снять ее, как снята побелка киевского Софийского собора?

10-го сентября. Гродно.

Ночь опять просидели очень приятно. Говорили о литературных направлениях вообще и о их значении в данные моменты. Не в укор будь сказано полякам, знакомство их с русскою литературою очень невелико; о направлениях же современной периодической литературы существуют самые неосновательные понятия. Разумеется, я сужу по тому, что я слышал, и не могу говорить ничего безотнositельно. Из уст здешних литераторов я слышал имена Пушкина, Лермонтова, Кольцова (!), Гоголя, Шевченки, Герцена, Кохановской и Чернышевского. О других ни слова: ни Турге-

нева, ни Белинского, ни Некрасова, ни Островского, ни Марка Вовчка здесь не вспоминают, а о людях, занимающих второстепенные и третьестепенные амплуа в нашей литературе, — и говорить нечего. Впрочем, поляков упрекать тут не в чем. Если взять в расчет знакомство русских с польскою литературою, то верх все-таки останется за поляками. У них каждый что-нибудь да знает о русской литературе, а у нас едва десятый знает два стиха из Мицкевича да слышал о существовании Корженевского, Крашевского, Одынца или Сырокомли. Одно, что мы верно понимаем, это направление польской периодической литературы. Поляки никак не разрешат себе, что хотят наши “нетерпеливцы” и на что надеются “постепеновцы”. Этими двумя словами весьма метко и остроумно охарактеризовались две главные литературные партии в России: эти названия гораздо определеннее, чем слова “прогрессисты”, “умеренные”, “крайние”, “ретрограды”, “консерваторы” и т. п. За исключением некоторых изданий, цену и значение которых все понимают, у нас именно есть две партии, и эти две партии

суть постепеновцы и нетерпеливцы. Кличка дана совершенно по шерсти, и я решаюсь предрекать ей некоторую долговечность. В польской периодической литературе совсем другое дело. Не говоря о “Dzienniku Powszechnem”, который равняется издаваемой в С.-Петербурге “Северной почте”, все польские периодические издания стремятся к одной цели и держатся одного направления. Даже краковский “Czas” и другие бесцензурные издания во многом совершенно согласны с газетами цензурными. Это, конечно, должно рассматриваться не безотносительно, а в связи с известными обстоятельствами, сосредоточивающими все помыслы страны на немногих, точно определенных вопросах. Изменение обстоятельств, вероятно, и в польской литературе поселит своего рода раскол, какой водворился в литературе постепеновцев и нетерпеливцев. Это совершенно в порядке вещей. Но вот что странно: во всей польской цензурной, бесцензурной и подпольной литературе не было и нет социалистических стремлений. Бесцензурная и подпольная (секретная варшавская пресса) вы-

сказывает стремления красные, демократические, нетерпимые, но социалистических никогда. Замечательно, отчего у поляков социализм считается утопией и сумасбродством, а в некоторых кружках нашего просвещенного отечества в нем видят наивысшую и конечную форму человеческой цивилизации! В либерализме, в понятиях политических польские издания могут быть солидарны с нашими изданиями, известными своим либерализмом, но в своих экономических стремлениях они более солидарны с постепеновцами. Из русских периодических изданий наибольшим почетом здесь пользуется “Современник”. Это я могу сказать утвердительно, потому что сочувствие к приостановленному журналу слышал от людей самых различных общественных положений. Здесь любят этот журнал так же, как любят его помещики Орловской, Курской, Пензенской, Саратовской и мн<огих> др<угих> губерний, а там его любят ужасно. Афанасий Васильевич, обыватель одной из этих губерний, ханжа, ревнивец и крепостничок, получив известие о приостановлении “Современника” по распоряжению

правительства, целый месяц сидел, списывал в особую тетрадь некоторые статьи из вышедших книжек “Современника”.

— А знаете вы, за что приостановлен “Современник”? — спрашивает он встречного и поперечного.

— Нет-с, не знаю, — скажите Бога ради, — говорит встречный и поперечный.

Афанасий Васильевич нагибается к уху и каждому по секрету шепчет с расстановкою: “З-а с-т-а-т-ь-ю о б-ю-д-ж-е-т-е!” Затем быстро откидывается назад и, пристально глядя в глаза изумленного встречного, говорит: “Поняли вы?”

— Тсссс, — говорит встречный, мотая головой.

— Поняли? — спрашивает опять Афанасий Васильевич, поднимая вверх указательный палец с кольцом от мощей Тихона Задонского.

— Понял-с, понял. Как не понять.

— Нет, вы прочтите.

— А у вас есть?

— Еще бы!

— Дайте, пожалуйста.

Афанасий Васильевич запускает руку в боковой карман и достает мелко переписанную женской рукою статью о государственных расходах.

— Вот-с, она, сама Ноточка писала. У меня, батюшка, все, и сам, и дети, и жену посадил, все переписывали, пока книжку держали из библиотеки.

— А можно переписать? — спрашивает встречный.

— Отчего же, можно, только мою-то не замарайте; это ведь Ноточка писала.

— Нет-с, как можно!.. А ничего это, Афанасий Васильевич?

— В каком отношении?

Встречный озирается и двумя нотами ниже говорит:

— Так, знаете, чтобы чего-нибудь...

— Э! полноте; ведь это с печатанного, да и вы можете сказать, что это я вам дал.

— Да-с, могу... покорно благодарю, покорно благодарю, — лепечет встречный, упрятывая в карман своих шаровар статью, переписанную душистой ручкой Ноточки.

— Эй вы! Петр Егорович! а Петр Егоро-

вич! — кричит Афанасий Васильевич, отпустив от себя соседа шагов на пятнадцать. Сосед оборачивается.

— Поскорее, — кричит Афанасий Васильевич.

— Чего-с? — кричит сосед, делая из горсти павильон над своим ухом.

— Поскорее, говорю.

— Что? — Сосед решается приблизиться к Афанасию Васильевичу и опять повторяет: “Что скорее?”

— Переписывайте-то скорее, — говорит Афанасий Васильевич, интересничая и понижая голос.

— А! Я скоро, скоро. А вы разве здесь не надолго?

— Да вот только людишек обещали поунять; завтра, думаю, все будет готово.

— Бунтуют? — с участием спрашивает встречный сосед.

— Да так, дворов сносить от усадьбы по положению не хотят.

— А все смирно?

— Да как вам сказать... Так вы поскорее, пожалуйста.

— Извольте, извольте-с. — Соседи расходятся.

— А позвольте узнать, Афанасий Васильевич, — говорю я после этой сцены, — отчего вы уверены, что “Современник” приостановлен вследствие статьи о бюджете?

— А то вследствие чего же-с? — задорно спрашивает меня Афанасий Васильевич.

— Да я этого не знаю.

— А! то-то и есть. А я знаю, что за эту статью.

— Не верится.

— Отчего же это вам не верится?

— Да оттого, что я статью эту знаю, и ничего в ней нет такого, что могло бы навести на ваши заключения.

— Нет-с, уж вы этого, пожалуйста, не говорите! Пожалуйста, не говорите этого! Я уж наверно знаю, н-а-в-е-р-н-о-е-с з-н-а-ю!

— А скажите, правда ли, что “Современник” запрещен за статью о студентах? — спрашивает меня офицер квартирующего в — ской губернии полка. Я ему говорю, что не знаю.

— Нет, это наверно, — говорит офицер, — у

нас и статья эта списана.

— Ах, à propos![5] “Современник” за что за-
прещен? — говорит золотушная дочка — ско-
го губернатора.

— Не знаю, за что именно.

— Vraiment?[6]

— Право, не знаю.

— За статью Филиппова о русских зако-
нах?

— Не знаю.

— Да это наверно. Мне из Петербурга писа-
ли.

И все знают наверно... Ну, что с ними ста-
нешь делать. Пусть учатся переписывать: им
это полезно, и “Современнику” тоже.

Поезд из Вильна в Гродно отходит в 3-м ча-
су ночи, но билеты пассажирам в Вильно да-
ют только до первой станции, до Ландварова,
и багаж тоже берут только до этой станции.
Вот уж порядок! Ночью извольте на промежу-
точной станции толкаться за билетом, отыс-
кивая свой багаж, снова его взвешивать и сда-
вать.

В вагонах нет места. В 1-м классе меня
пхнули в купе к даме, обложенной тремя спя-

щими детьми, которые, по ее показанию, нездоровы. Уселся кое-как в уголке. Дама совсем в особенном роде: зевает, как сытый волк, и ничего не говорит, кроме показания о болезни своих детей, сделанного в момент моего вступления в купе.

Наконец Ландварово. Господи! отпусти французское жестокосердие, устроившее эту станцию. Ни угла теплого, ни мебели, ни места присесть, словом, ничего. Двери с разбитыми стеклами или вовсе еще без стекол; пронзительный холодный ветер свищет по зале, мужчины кричат, женщины суетятся, ищут оттертых толпою детей, дети плачут, не находя матерей. Все недовольно, все торопятся, боясь опоздать, и никто не находит удовлетворения ни одному из самых умеренных и самых справедливых требований пассажира. Я теперь понимаю озлобление русской публики против администрации обворожительных сотрудников рыцаря Бларамберга; искренно желаю ему получить насморк и усаживаюсь на моем саквояже на платформе, потому что в залу нельзя пролезть.

На ландваровской платформе мне прихо-

дит на память один недавно скончавшийся даровитый русский публицист, либерал и радикал. Он, говоря притчами, сказал раз, что неблагоприятно, едучи из Москвы в Петербург, брать билет до промежуточных станций. Нетерпеливцам это очень понравилось, и они не раз замечали постепеновцам, что они портят дело, предъявляя требования на билеты до промежуточных станций. Французский рыцарь г. Бларамберг дает возможность отвечать на вопрос покойного радикала. Не возьмете у него билета из Вильна до Ландварова, не попасть нам и в Варшаву, стоящую в конце пути. Вот зачем люди сообразительные и берут билеты до промежуточной станции, когда нельзя получить их на целый путь, и упрекать их, кажется, не в чем.

Дойдя до такого заключения, я чихнул. Это с одной стороны значит, что мои заключения справедливы, а с другой, что я получил насморк, который по всей справедливости должен был бы идти г. Бларамбергу с товарищи.

Забыл сказать, что в виленском амбаркадере я видел несколько экземпляров бларамберговской креатуры в самом печальном на-

строении. Бедняжки жалуются на сокращение штатов и на покушение удалить тех из них, которые не понимают ни по-русски, ни по-польски. Какая несправедливость! И эти русские и литвины не позаботятся изучить французский язык, чтобы спасти остатки полчищ, приведенных в Россию рыцарем Бларамбергом! Истинное варварство!.. А пора попустить этих господ с рук, и очень пора: скверно распорядиться мы и сами умеем, и берем за это гораздо дешевле.

После суеты и торопливых хлопот о билетах и багаже нас усадили в вагоны и объяснили, что поезд пойдет еще через час. Ну, вот и прекрасно. В купе, занятом мною и двумя моими спутниками, садится некая персона, состоящая на службе по железной дороге, и гвардейский офицер, следующий с командою в Варшаву. По поводу шляхты мы с К—м заговорили о взглядах Рияля на умственный пролетариат. Разговор идет по-польски. Офицер, услышав несколько раз упомянутое имя Рияля, спрашивает меня по-русски: “А что, его родные были тогда в Варшаве?”

— Чьи родные? — говорю я, совершенно не

поняв вопроса.

— Риля!

— Риля?

— Да, Рыля!

— Не знаю, право, но зачем же им быть в Варшаве?

— Разве он не варшавский?

— Рыль-то?

— Да, он ведь варшавский?

Я наконец догадался: “Вы о каком Риле говорите?” — спросил я офицера.

— О том, которого повесили в Варшаве.

— А мы о том, который писал об умственном пролетариате.

— А так это не тот самый.

— Нет, не тот.

— Где же это напечатано об умственном пролетариате?

— В “Русском вестнике”.

— Ну, уж, батюшка, “Русский вестник”...

— Что?

— Черт знает что.

— Журнал хороший, — говорит К—ч.

— Подите вы!

И я, и К—ч смотрим на фамильярного офи-

цера, заворачиваемся в углы и засыпаем.

За две станции до Гродны поднимается шум, все бегут пить чай, но до чая дотолпиться нельзя, и половина пассажиров, несолоно хлебавши, возвращается в свои вагоны.

Наш офицер показывает персоне, служащей по железной дороге, серебряные часы, подаренные кому-то из его солдат за меткую стрельбу, и спрашивает об удовольствиях варшавской жизни. На одно свободное место в нашем купе кондуктор сажает даму в черном платье, с маленькой девочкой тоже в черном.

— Przepraszam![7] — говорит дама, проходя мимо наших ног. Мы поднялись и дали место. Уселись, поезд тронулся.

— Вы, верно, не издалека? — спрашивает офицер новую сопутницу.

— Со?[8]

— Вы не дальние? здешние?

— Со? — опять повторяет дама, надвинув брови и поправляя галстучек на ребенке.

Офицер повторил свой вопрос в третий раз.

— Ja nic nie rozumiem,[9] — ответила дама

тоном, не допускающим дальнейшего разговора, и, посадив ребенка к себе на колени, обернулась к окну.

По потолку вагонов задвигалась сигнальная веревка, пассажиры высунулись в окна, раздалось: “пожар, вагон горит”.

— Позвольте, позвольте, — говорит офицер, поспешно двигаясь к двери, “пшипрашу”, [10] говорит он, проходя мимо дамы, и выскакивает из вагона. Мы тоже вышли. Второй вагон от локомотива горит с передней стороны; говорят, в него попала искра из трубы и внедрилась в свежую масляную краску. Воды нет. Солдаты берут горстями песок с дороги и забрасывают горящую стенку платформы.

— Вещи, вещи свои беречь! — кричит офицер солдатам.

— Слушаем, аше бродие! — отвечают солдатики.

— Что твой палец? — спрашивает офицер солдатика с рукой, обвязанной какою-то онучею.

— Ничего, аше бродие!

— Болит?

— Болит, аше бродие!

— А легче теперь?

— Таперича легче, аше бродие!

— Что у тебя такое? — спросил я солдатика, когда офицер отправился командовать га-сильщиками.

— Дверью в агоне прищемил.

— И крепко прищемил?

— Совсем увесь коготок так и отворотил.

— Что ж ты сделал?

— Табаком присыпал, да вот тряпицей обмотал. Кровь только все так и валит, — добавил он, показывая мне на тряпку, смоченную кровью.

— Купец! послушайте, купец! — обратился ко мне больной. — Не обидетесь, что я вас попрошу?

— Не обижусь, мой друг, не обижусь.

— Одолжите сигарочку, — и солдатик сделал мягкую улыбку. Я дал ему две сигары.

— Вот благодарение вам. — Солдатик взял левою рукою сигары и запахнул их за обшлаг рукава больной руки.

— Садись, — скомандовал офицер. Солдатики начали прыгать в “агон”, и через десять минут мы пристали к гродненскому вокзалу,

устроенному еще хуже ландваровского.

11-го сентября. Гродно.

Вчера целый день протаскался по Гродно. Гадкий городишко, хуже Чернигова, кажется. Еврей, поймавший меня за саквояж при выходе из вагона, уложил его в свою “бричку” и таким образом обязал меня влезть туда же.

— Куда ехать? — спросил он, проехав шагов тридцать.

— К Эстерке. — Я еще на дороге условился с моими знакомыми остановиться вместе, а они почему-то предпочитают “заязд Эстерки”.

“Заязд Эстерки”, как все еврейские заязды, грязный, холодный, с дурно прилаженными окнами и хлопающими дверьми. Двери между номерами ничем не заклеены, и под каждую дверь большое пустое пространство. В номере слышно все, что говорят в соседних номерах, справа и слева. Один из моих товарищей К—ч отправился к своему отцу, для свидания с которым он приехал из Вильна, а другой занял номер рядом со мною, в номере с другой стороны слышны молодые женские голоса и треск от раздираемой материи: там что-то кроют.

Извозчик еврей, похитивший меня со станции железной дороги, взыскал с меня полтинник за доставление к Эстерке. Абрам, метрдотель Эстерки, стоявший при моем расчете, освидетельствовал, что это “стоит полтинника”; ну, стоит и стоит, делать нечего. Приезжает мой товарищ, обыватель литовского края и знаток здешних людей и здешних нравов. Извозчик в два приема сносит за ним кучу вещей, которых со мной не было, и получает за это 40 грошей, т. е. 20 коп. сер<ебром>.

— Замало, пане, — говорит извозчик, — нужно бы 50 грошей.

— Иди вон!

— Дайте десять грошей.

— Абрам!

— Только пять грошей прошу.

— Абрам! Абрам!

Входит Абрам.

— Что ему следует от железной дороги?

— А чи я знаю? — говорит Абрам.

— Врешь, говори!

— Ну, вы же рядились с ним.

— Нет, не рядился.

— Ну, так дайте ему золотого (15 копеек).

Извозчик забормотал по-еврейски, тыкая под нос Абраму злот и десятигрошовый биллон.

— Пошли оба вон.

Евреи продолжают кричать.

— Пошли вон, говорю вам, пошли!

Извозчик выскакивает за дверь, а Абрам за ним. “Подерутся”, — думаю себе и выхожу на галерею, устроенную вдоль номеров, а Абрам стоит с извозчиком и беседуют самым любезным образом на своем жаргоне. Все-таки мне неприятно, что мой сопутник, добрый и мягкосердечный человек, так круто обращается с евреями.

— Пане!

Оборачиваюсь: за мной стоит хромой еврейчик.

— Я помощник Абрамки.

— Что ж тебе нужно?

— Постель пану нужна?

— Нужна, только чистая.

— О! что уж чистая, то будет чистая.

Еврейчик скрывается и через полчаса вносит две простыни и две подушки.

— Разве это чистая постель? — говорю я, указывая на подушки и простыни.

— Ну, что это, это пустяки, так какое-то пятнышко.

— Пусть и так, а ты мне дай другую постель.

— Ой, нету, далибуг же нету, пане!

— Так за что же вы деньги берете?

— Як за что? За постель.

— За грязную?

— Ай, ай, ай, як пану не стыдно такое говорить, — говорит еврей укорительным тоном, — чи ж это грязная постель?

— А пятна?

— Ну, что за пятна, пустые пятна.

Мне надоел этот торг, и я позволил себя уверить, что принесенная мне постель действительно чистая.

Только что исчез хромой еврейчик, является Абрам и осматривает мой номер.

— Умыться надо? — спрашивает он.

— Надо.

— Самовар надо?

— Надо.

Абрам заворачивается, но, взявшись за

дверную ручку, опять останавливается и с скоромною миною вполголоса спрашивает: “Може еще что надо?”

— Иди, иди, — говорю я, — давай самовар.

— Зараз, зараз, — и Абрам исчезает.

Мой товарищ отправился по делам, а я достал из чемодана книжку и уселся за самовар.

— Булки надо? — спрашивает Абрам.

— Дай.

— Ой, когда б пан знал, сколько я имею клопот, — сказал Абрам, кладя булку на грязную тарелку.

— А еще сам себе сочиняет лишние хлопоты.

— Как лишние хлопоты?

— Да редкости там какие-то откапываешь.

— О! я рад служить добрым панам, когда видите, — произнес он, понижая голос, — был у нас театр. В теперешних часах, на том театре никого не осталось, только одна актерка заболела в те поры и не выехала. Ай, что то за пекность! Что то за милютка!

Абрам делал такие рожи, что я невольно расхохотался.

— Ой, пан, смеешься, а як бы увидел,

то... — Абрам поцеловал кончики своих замозанных пальцев, защурил глаза и поднял кверху всю свою рожицу.

— То нужда, нужда ее теперь до того до-проводила, а прежде она ай, ай, ай, какая была пани; але нехай и теперь пан посмотрит.

— Ну, ладно, ладно, иди себе с Богом.

— Я пану расскажу, — снова начал Абрам, — она замужня.

— Да что мне до нее?

— Ну! я только так говорю, замужня, а не какая-нибудь. Только не хочет жить с мужем.

— А удалилась под твою протекцию.

— Хм! — Абрам засмеялся. — Пан жартуешь с моей протекции, а Абрамку по цалым свете знают.

— Полно врать.

— Далибуг, что знают. От нехай же ну пан спытает об Абрамке в Варшаве, чи в Кракове, — везде знают.

— Уйди, пожалуйста, Абрам!

— Пан мне не верит.

— Уйди, Абрам!

— Абрамка! Абрамка! — кричит кто-то с галереи.

— О! сколько я маю клопот, — сказал Абрам и потел за дверь.

Что это за люди, эти еврейские факторы и слуги в заездах?

Объездил весь город. Спускался к Неману под мост железной дороги. Мост очень красив, но ужасно высок, и выгрузка товаров, передаваемых с судов на железную дорогу, очень неудобна. Здешние суда “вицины” очень длинные и едва ли удобны для плаванья по такой реке, как Неман. Вся поездка по целому Гродну стоила мне в 60 копеек. Гостиниц здесь видел только две: “Hotel Warszawsky” и “Hotel Krakowsky”; зашел в один — очень уж грязно, пошел в другой — еще грязнее. За столом застал до 40 человек в чемарках, казакиных с усами, с бородами и без усов и без бород. Разговор беспрестанно пересыпается именами Андрея Замойского и маркиза Виелопольского.

В половине обеда вошли два армейские офицера: один высокий угреватый блондин, другой черненький с кошачьей физиономией.

— Ей ты, пан! Давай обедать! — крикнул

угреватый лакею в засаленной чемарке.

— Zaraz, pane![11]

— Я знаю твой зараз, а ты давай сейчас!

— Сичас, сичас, — заговорил лакей, метнувшись к буфету.

— Ей ты, пан! если ты пан, так давай есть, — закричал черномазый офицер пробежавшему с тарелками лакею.

— Zaraz, zaraz, daisz.[12]

— Пан! Тоже откликается, — заметил угреватый.

— У них всякий черт пан, — заметил черномазый.

Несколько человек переглянулись и опять утупились в свои тарелки.

Я окончил свой обед и отправился спать в отель “Эстерки”. В номере у меня холод ужасный, и полученный в Ландварове насморк ожесточается.

В ожидании К—ча, который хотел прийти в 5 часов, чтобы показать мне исторические памятники Гродна, я завернулся в шинель и лег в постель. По мере того как я согревался, меня стал одолевать сон, и я проснулся, когда было уже темно. В соседнем номере налево

горели свечи, и свет сквозь дверные щели падал двумя яркими полосками на пол моей комнаты. Я очень люблю сумерки, когда остатки дневного света еще борются с ночной тьмою; спешить же было некуда, и потому я не встал с своей согревшейся постели. Szara godzina, серый час, как называют поляки сумеречный час, необыкновенно располагает к мечтам и воспоминаниям. У меня немного воспоминаний, но, тем не менее, они мне приятны. Под звуки свежих женских голосов моих соседок я вспомнил другой полупольский город, стоящий не в холодной Литве, а в роскошной Украине; вспомнил маскарады, желтый дом, комнатку над брамой (воротами), белокурые локоны на миловидном личике и коричневое платье на стройном стане. Потом пошли другие воспоминания, розы смешались с шипами; потом розы совсем куда-то запропастились и остались одни иглы, все иглы, иглы, и вот я одинокий и разбитый лежу в холодной комнате литовского заязда и волей-неволей слушаю разговор двух польских помещиц, рассуждающих о приданом. Приданое! Какое это странное слово, ду-

маю я, и снова чувствую, что меня одолевает дремота.

— Зося (Соня)! сердце мое! ты ли это? — весело вскрикнули обе мои соседки, и я опять возвратился к бдению.

— Вот же видите, что я, — немного разбитым, но симпатичным голосом отвечала гостья. — Здравствуйте, тетя, здравствуй, Ксаверна! Поздравляю тебя с женихом; дай Бог тебе много, много счастья!

Послышались частые и долгие поцелуи.

— Зачем? зачем? — говорила гостья.

— Ну, позволь, Зося. Ты ее старше, она любит и уважает тебя; отчего же ей не поцеловать твою руку?

Опять послышался поцелуй, другой, третий, вздох, опять поцелуй и опять вздох.

— А ведь я прямо к вам, тетя! — заговорила снова гостья.

— И прекрасно, и прекрасно; поговорим, поболтаем, посмеемся, поплачем, — так, что ли? Поплакать ведь есть о чем, а?

— Нет, тетя, все слава Богу.

— У тебя всегда слава Богу. Ксаверна, скажи, ну, сердце мое, чтобы Зосе дали чаю. Я ду-

маю, девочку-то ты зазнобила?

— Где ж там зазнобила! Две мили разве далеко? Она, моя малюська, прижалась и вот до сих пор спит.

— Дай же, я составлю ей креселки да положу подушек.

Послышалось движение кресел к самым моим дверям, потом перебили подушки, и молодая женщина уложила на них спящего ребенка.

— Ну, что же, Ксаверна, счастлива ты, мой ангел?

— Счастлива, очень счастлива, Зосю, — отвечает младшая из моих соседок молодым, почти детским голосом.

— Любите друг друга?

— О уж, что любят, то и говорить нечего, — отвечает старшая.

— Дай же, Боже, чтобы этой любви вам стало навеки.

— Добрая ты, Зося, — отвечает опять молодой голосок, и раздается звучный, искренний поцелуй.

— Скажи же ты нам, как ты узнала, что мы здесь? — спросила старшая соседка гостью.

— Я вчера посылала Яна (Ивана) в город, и он вас встретил и сказал мне.

— Зачем же он не зашел ко мне?

— Я его наскоро посылала, тетя; он спешил.

— Иезус, Мария, так уж спешил, что и слова не мог выговорить! Что это за спех такой?

— Я его в аптеку посылала.

— Разве кто болен был? Муж, что ли, у тебя болен?

— Н-нет, он здоров; я для Мальвинцы брала лекарство.

— Чем же она больна?

— Теперь, кажется, ничего, видите, тетя, как спит, а вчера она что-то нехороша была.

— Что вы на меня так смотрите? — спросила гостя после непродолжительного молчания.

Старшая соседка вздохнула и сказала: “Ничего; так смотрю. Пей чай, Зося”.

— Благодарю, тетя, уж не хочется.

— Пей, согреешься.

— Я не озябла.

— Ты в чем приехала-то?

— Я на одной лошадке.

— Как на одной лошадке?

— Так, тетя, ездила в воскресенье в костел да нетычанку сломала; посылать за ней пройдет много времени, а я боялась, что вас не застану, и поехала.

— На возу?[13]

— Ну, да.

— Что же это ты, с ума сошла, что ли?

— Да что ж такое, тетя? Две мили, Боже мой, ведь это прогулка.

— Для женщины слабой, которая сама кормит?

— Эх, полноте, тетя! Давайте лучше говорить о вас, о Ксаверне, о ее счастье. Поди ко мне, моя пальма стройная! — добавила гостя, обращаясь к младшей соседке. — Поди, дай мне посмотреть в твои чистые глазки.

По полу зашелестело шелковое платье, и опять послышались два долгие звучные поцелуя.

— Где же твой муж? — спросила тетушка.

— Он здоров, тетя, благодарю вас, — р<ani>Софья отвечала и подошла к креслам, на которых лежал ее ребенок.

— Дома он, я спрашиваю тебя? — спросила

тетка.

— Нет, тетя, его нет дома.

— Где же он?

— Он... здесь, тетя!

— В Гродне?

— В Гродне.

— И глаза не покажет, хорош!

— Он очень занят, тетя!

— Чем это, моя милая?

— Я, право, ведь этих дел не понимаю.

— Да где же он живет-то? Я очень рада тебя видеть у себя, но зачем же ты к мужу не приехала? А? Скажи-ка ты мне, ты все что-то вышиваешь.

— Нет, тетя, какое вышивание, я просто не знаю, где он живет тут.

— Мать Божья Остробрамская! Молодая жена не знает, где ее муж! Дураки на селе остались, моя коханка, что ты вышиваешь-то!

— Спите вы? — крикнул мне через дверь возвратившийся в свой номер мой товарищ.

Не желая беспокоить моих соседок, я ничего ему не ответил, но тихонько отпер свою дверь и перешел к моему спутнику.

— Пойдемте ужинать.

— Нет, покорно вас благодарю, — отвечал я, — я и обед насилу проглотил.

— Да вы где обедали?

Я сказал.

— А я ел отличный обед в клубе и предлагаю вам теперь идти туда ужинать.

Пошли. Стол действительно хороший и необыкновенно дешевый. Двое за ужин с водкою и пивом мы заплатили 1 руб. 60 коп., несмотря на то что клуб помещается в доме Стефана Батория и мы ужинали в комнате, где, по рассказам, умер великий король. В Петербурге за эту цену так поужинать невозможно. Особенно мне понравилась опрятная и вежливая прислуга. М-ме Мильброт, не без пользы для своего заведения, могла бы прислать сюда нескольких своих немок поучиться вежливости. Ведь петербургские пролетарии, питающиеся на углу Малой Морской и Гороховой, деньги же платят за свой стол, а не питаются щедротами г-жи Мильброт. Отчего это, в самом деле, европейские пришельцы так скоро становятся невежами и *en canaille*[14] третируют потребителя своей производительности? Воздух такой, что ли?

Здоровье мое совсем не годилось. Катар усиливается, и я могу дышать только раскрывши рот, как окунь, вытащенный на землю.

12-го сентября. Гродно.

Чтобы записать нынешний день, нужно начать со вчерашнего, потому что он начался для меня вчера. Вчера я не заметил одного пустого обстоятельства, которое, в связи с событиями, последовавшими после того, как я улегся в постель и погасил свечу, становится довольно важным.

Когда мы возвращались из клуба, на галерее нас чуть не обварил самоваром Абрам, левый как на пожар.

— О! Сколько я маю хлопот с теми панями, — сказал он, принеся мне на ночь графин с водою.

— Какие же хлопоты ты с ними маешь?

— Видите, пане, приехала до них какая-то родичка, чи приятелька с малым детком, да и захворали. Вобморок ее зашиб, совсем смертвела. Ай, сколько было хлопот, ай сколько! В аптеку бегал сейчас, попелу (золы) наносил, муштарты (горчицы) принес, самовар изгото-

вил, кадку принес. Ай, сколько клопот, сколько я маю клопот, Божи единый знает!

— Зачем ты приносил попел?

— Ванну зараз будут тей пани делать, —
ответчу Абрам с секретной миной.

— Ну, иди себе.

— Доброй ночи пану!

— Иди, иди.

— Больше ничего не нужно?

— Да иди, надоел до смерти.

— Надоел! Чего надоел? Пан все шутит с
бедного еврея.

— Иди же, Абрам!

— Иду, иду. Прощайте, пане!

Абрам затворил дверь, но тотчас отворил ее снова и сказал: “А як пан что надумает или что потребуется, то я ту зараз в каморке сплю; пусть только пан кукнет — я зараз”.

— Иди от меня, Абрам! — крикнул я, окончательно выведенный из терпения.

— Иду, пане; доброй ночи.

“Чтоб тебя черт взял с твоею услужливостью!” — подумал я и запер дверь на ключ.

Спать мне, однако, не хотелось, потому что я выспался днем. Попробовал читать, но это

оказалось неудобным, потому что глаза у меня разболелись от жестокого катара и покраснели, дополняя мое сходство с окунем. Я записал четыре последние вчерашние строчки моего дневника, лег в постель и погасил свечку. Вскоре, однако, я удостоверился, что если бы я и способен был заснуть тотчас после освобождения от нашествия Абрама, то этого мне не удалось бы. В номере моих соседок поднялась ужасная возня, о которой могут иметь понятие люди, вкусившие от прелестей семейной драмы. Ночью, когда все кругом спит, каждое движение, каждый звук гораздо слышнее, чем днем, и потому дощатая перегородка и щелистая дверь, отделявшие меня от моих соседок, как будто вовсе исчезли, и я слышал их в трех шагах от себя. Прежде всего больная гостья брала ножную ванну и жаловалась потом на крайнюю слабость. Ее уложили в постель, и горничная девушка стала выносить воду, а панна Ксавера ходила по комнате, укачивая изредка взвизгивающего ребенка. Но не прошло часа, как с больной сделался жестокий припадок истерики. Я слышал, как тетка и панна Ксавера держали ей руки, как

больная дергалась в конвульсиях на скрипучей кровати. Она хохотала, рыдала, звала Генриха, кляла себя, людей... Ужасный припадок! Я в жизнь мою не видал такого жестокого припадка.

Часа через полтора, однако, все утихло; больная уснула, и в комнате только изредка перешептывались, но так тихо, что я ничего не мог расслышать, и сам незаметно уснул. Не знаю, долго ли я проспал, кажется, очень недолго. Меня разбудил слабый детский плач в комнате моих соседок.

— Дайте мне ее, тетя! — слабо проговорила больная.

— Спи, спи, мой друг, я ее закачаю, — отвечала тетка.

— Нет, тетя, дайте; она, бедная, голодна; я покормлю ее.

Тетка подала девочку, и мне было слышно, как стал глотать проголодавшийся ребенок. Каждый глоток материнского молока щелкал ровно и отрывисто, проходя через маленькое горлышко младенца.

Некоторое время продолжалось молчание.

— Что ты из себя сделала, Зося? — сказала,

наконец, тетка.

— Что, тетя?

— Страх на тебя смотреть.

— Это вам так кажется. Я совсем здорова.

— Какое там здоровье!

— Право, здорова. Это я немного простудилась, застудила груди, и только. Теперь все пройдет, — добавила она, помолчав немного.

— Вас-то я только перепугала, — проговорила опять больная.

— Полно глупости говорить.

— Право! Сколько хлопот наделала.

— Э! Стыдись.

— Ну, ну, не сердитесь же, тетя моя добрая.

А невеста наша спит?

— Спит; что ей пока делается?

— Красавица моя! Какая она милочка; посмотрите на нее, тетя: точно спящий Амур.

— Давно ли ты была сто раз лучше ее.

— Ну где же там лучше, тетя?

— Мне лгать нечего: она мне дочь, а ты племянница.

— Она еще не расцвела, — сказала больная.

— Пожалуй, и не расцветет, а завянет, как

ТЫ.

— Далось же вам, тетя, что завяла я, да завяла. С чего вы это берете?

— Будет тоже, может быть, реветь коровою, как ты.

— Тетя! Когда ж это я ревела?

— Знаю, мой друг, все знаю.

— Нечего знать, тетя, — отвечала, вздохнув, молодая женщина.

— А глаза-то с чего запухли?

— От ветра. — Больная сама тихонько рассмеялась над собою и, вздохнув, проговорила: — Что же делать-то, что делать, тетя? Разом ничего не переделаешь: нужно терпение, сила воли, твердость, спокойствие, а последнего-то у меня и нет, в том вся и беда.

— А скоро и здоровья не станет.

— Станет, не бойтесь, кто любит, тот живуч.

— Из какой это книжки?

— Из той, что у меня бьется под ребром.

— А!

— Не сердитесь же, теточка.

— Чего сердиться! Мне просто жаль тебя, бесхарактерную женщину, и только.

— А жаль, так помогите.

— Чем это?

— Дайте 600 рублей?

— На что? На карты? На любовниц?

— Тетя! Тетя! — проговорила больная с упреком. — Ну не хотите дать — не давайте, но не обижайте его; ведь он мне муж, ведь он отец этого самого ребенка!

— Хорош муж! Разбойник!

— Тетя! Ведь я у вас в доме.

Тетка ничего не отвечала, только слышно было, как она щелкнула табакеркой и протяжно втянула в нос порцию нюхательного табаку.

— Посмотрите, тетя, — тихо проговорила больная.

— Что там?

— Посмотрите, как она сложила губенки.

— Дай, я ее положу к Ксаверне, а ты усни.

— Нет, Ксаверна ее задавит.

— Ну, вот еще!

— Право, задавит.

— Ну, положу на кресла.

— А сами-то где же ляжете?

— Да я посижу, посчитаю нынешние по-

купки, а там после прилягу хоть у тебя в ногах.

— Смотрите, тетя!

— Что опять?

— Точный отец, дуется, сердится. Ох ты, мое сокровище! — Мать поцеловала малютку.

— Еще ему дуться!

— Какая вы, тетя, смешная! Разве он не человек?

— Да на кого он имеет право сердиться? На себя разве?

— На себя, на меня, на многих.

— А ты ему какое лихо сделала?

— Да что вы думаете, тетя: я ангел, что ли, небесный?

— Разумеется, с тобой всякий был бы счастлив.

— Ну, это еще не известно. Пан Струтиньский, — тихо смеясь, добавила молодая женщина, — говорит, что от такой женщины, как я, можно повеситься.

— А была бы за паном Струтиньским — наисчастливейшая была бы, — отвечала со вздохом.

— Ну, как вы это можете знать, тетя, что я

была бы счастлива?

— Вот вопрос! Посмотри-ка, как он дует просто на свою долгоносую жену; пылинок на нее не даст сесть; четверка коней, кочь (коляска), лакей в ливрее...

— Муж глупый, с жидовской душою, с холодным сердцем, — досчитала пани Софья.

— Ну, а у тебя умник?

— А умник.

— С горячим сердцем.

— У! С горячим.

— Только для кого?

— Для всех.

— Кроме жены?

— Как вы знаете это?

— Что ж, я дура, что ли? Или глаза у меня повылезали?

— Вы все преувеличиваете. Положите, сердце мое, Мальвинку, а то ей тут жарко возле меня.

Тетка встала и перенесла ребенка. Произошло длинное молчание, во время которого больная поправилась на постели, а тетка выполоскала рот и, вздохнув очень глубоко, сказала: “Как бы слушалась давно старших, так

не ездила бы на возе, не сидела бы без свеч и без чая в нетопленной комнате, а хоть маленький кусок свой сберегла бы, все-таки была бы какою ни есть панею”.

— Прошедшего воротить нельзя, и вспоминать не стоит.

— И теперь бы могла жить еще покойнее. Чего тебе: отец дает флигель отдельный, коней, прислугу, и дети будут спокойны, и ты.

— Нет, тетя, я уж отрезанный ломоть — к караваю не пристану.

— Да чем же это кончится?

— Чем Бог даст, а лучше станет.

— Имение промотал.

— Ну, так что же?

— Твое промотал.

— То есть не умел распорядиться.

— С этого места теперь стонят.

— Отчего же? Помещик им очень доволен; ну, а не это место, так другое будет. Плакать не станем.

— Да двух старших за руки, а Мальвинку за пазуху, да и в поход! — иронически и даже злобно сказала тетка.

Больная долго молчала и потом, вздохнув,

спросила спокойно и решительно: “Чего же вы от меня хотите? Что, по-вашему, я должна делать?”

— Забирать детей и ехать к отцу.

— Нет, этого я не сделаю.

— Ну, и голодай сама, и мори детей.

— У детей есть все, что им пока нужно.

— А у самой что осталось?

— Тетя! Отчего вы мне этого не говорили, пока у нас была Кастановка?

— Тогда не то было.

— То же самое.

— По крайней мере, ты жила пристойно; на возе не ездила. Тогда можно было еще ждать лучшего.

— Я и теперь жду лучшего и верю, что оно придет.

— Когда рак свистнет.

Больная сделала движение на кровати, которая резко скрипнула.

— Боже мой! — сказала она, — да неужели дети мои будут счастливее, если я разлучу их с отцом, которого они любят и который их любит!

— Как он их любит?

— Как умеет, так и любит; больше, может быть, чем думают.

— А о себе ты не думаешь?

— О себе?

— Да, о себе?

— Позвольте, тетя: я вас не понимаю. Мое счастье в том, чтоб воспитывать детей и видеть их вместе с их отцом, который знает, что у него нет большего друга, как я.

— До встречи с первой юбкой.

— Он человек, в котором не воспитана воля, но он знает свои пороки, он любит детей, он страдает, он хочет быть иным человеком.

— Пусть по-твоему; пусть исправляется, но пока что будет, не мучь же ты себя.

— Чем?

— Нуждою.

— Тетя! Что вы обо мне думаете?

— Как что?

— Что я такое: жена или содержанка? —

Больная сделала ударение на последнем слове. — Ведь только содержанки живут, пока хорошо живется, а жены так не делают.

— С тобой не стоворишь, — отрывисто ответила тетка.

— А правда, что не сговорите, тетя; ложитесь лучше спать.

— Спи с Богом!

— Благодарю, тетя! — Кровать опять скрипнула, и в комнате настала совершенная тишина, только изредка раздавались сдержанные вздохи больной, да панна Ксавера два раза рассмеялась сквозь сон. Спала ли панна Софья, Бог ее знает; но я имею основание в этом сомневаться, потому что слышно было, как она беспрестанно ворочалась на постели. Разговор этот меня очень встревожил, но я заснул, когда было уже совсем светло. В 7 часов кто-то постучался в мою дверь. Отпер — смотрю, Абрам, и с самоваром в руках.

— Зачем так рано?

— Чем рано, пане?

— Семь часов.

— Ну! Восьмой час. А я скажу пану: какой я презент (подарок) пану приготовил!

— Какой презент?

— Ну, уж пан увидит, — и Абрам, захватив мои сапоги и платье, убежал, оставив самовар без чайного прибора.

Через пять минут после выхода Абрама

дверь снова отворилась и молодая полненькая еврейка внесла поднос с чайником и двумя стаканами.

— День добрый, пану! — сказала она прежде, чем успела дойти до стола, на котором стоял кипящий самовар.

— День добрый, — отвечал я, поднимая на голову свое одеяло.

— Залить пану чай?

— Нет, благодарю: я сам залью.

— Зачем беспокоиться! Простудиться можно, — улыбаясь, отвечала еврейка и, не говоря ничего более, заварила чай.

— Не вставайте; я вам налью чаю.

— Нет, благодарю; я не пью, не умывшись.

— Але ж сапог нет, — отвечала она, снова лукаво улыбаясь, — простудит пан ноги.

— Пошлите мне Абрама.

— Абрама?

— Да, Абрама.

— На что пану тот Абрам?

— Пожалуйста, пошлите.

— Хорошо, я пошлю.

Еврейка пожала плечами и, сделав презрительную улыбку, вышла из комнаты.

— Чего, пану? — крикнул Абрамка, вскочивший с несколько сконфуженным лицом.

— Во-первых, тише говори, потому что здесь кругом спят люди; потом сейчас принеси мои сапоги и затем не смей показываться, когда я тебя не зову.

Абрам ушел молча, принес вычищенные сапоги и не явился даже убрать самовар.

В 10 часов пришел К—ч, и мы отправились смотреть развалины Коложи. Коложею здесь называются остатки православной церкви, выстроенной пленными калужцами. Впоследствии эта церковь принадлежала базилианам, а потом совсем упразднена и теперь находится в таком положении, что поправить ее или хотя как-нибудь поддержать совсем невозможно. Обрывистый берег, на котором стоят остатки гродненской Коложи, ежегодно осыпается и уносит с собою часть развалин. Стена, обращенная к реке, уже упала вниз, и только куски кирпичей, застрявшие в береговых углублениях, свидетельствуют о пути, по которому стена летела к Неману. Остальные три стены дали очень широкие трещины и тоже угрожают неожиданным падением.

Внутренность Коложи испещрена круглыми отверстиями: это горшки, вмазанные в стены вместе с кирпичами. Один из этих горшков я видел в виленском музее. Цветом он очень напоминает муравленный русский горшок, а фигурую похож на молочные кубаны, которые делают около Кром, в Орловской губернии. На одной из наружных стен Коложи есть кресты, сделанные из вставленных между кирпичами поливных зеленых кафель. Около Коложи есть сад, совершенно запущенный, дом, где жили последние базиляне, тоже запущенный, и огороды. Говорят, что отцы базиляне и на бесплодной гродненской почве умели получать прекрасные садовые и огородные плоды, держали красивый рогатый скот и славились своим гостеприимством и хлебо-сольством. Теперь здесь кругом все пусто и бесцветно; на огороде виднеются тощие кочни капусты, и ветер стучит кусками отстающей крыши. В хате со въезда мы нашли одну бабу, которая ничего не умела нам рассказать. Поля, по которым мы приезжали от города к Коложе, засеяны картофелем. Грунт такой же белый и холодный, как и по всему ли-

товскому тракту. В Гродне есть улица, называемая “Калужскою”. Полагают, что здесь жили калужане, приведенные в плен литовцами. Ни порядочных магазинов, ни красивых улиц в Гродне я не видал. Дом губернатора, низенький, одноэтажный, очень характеристичен. Он еще старой литовской постройки. Торговой жизни в Гродно вовсе не заметно, и вообще, по мнению обывателей, город этот не имеет будущности и во многом уже уступает Белостоку, отстоящему от него на 75 верст по Варшавской железной дороге. Побродив по улицам, в 2 часа мы зашли обедать в клуб. Здесь есть даже русские газеты: “Петербургские ведомости”, “Искра” и “Журнал министерства народного просвещения”. За очень хороший обед, две рюмки старой водки и 2 бутылки хорошего пива с нас взяли 1 р. 80 копеек. Непонятная дешевизна в голодном крае, в городе, живущем исключительно привозным издадека хлебом, который теперь становится дороже, потому что Варшавская железная дорога увеличила потребности съестных припасов, но, проходя по местности бедной и не соприкасаясь с пунктами, производящими

отпуск хлеба, нимало не способствует увеличению продовольственных продуктов.

Находясь еще под влиянием впечатлений прошедшей ночи, я спросил К—ча: “Как развивается в польском обществе идея о женской эмансипации?”

— Да как видите в литературе.

— Ну, я не могу сказать, что знаю польскую литературу.

— В беллетристике можно ясно видеть положение этой идеи.

— Да если судить по беллетристике, так мы вас опередили.

— Чем это?

— У нас женский протест необыкновенно силен.

— Положение, верно, хуже.

— Ну, нет, этого сказать нельзя.

— В чем же протест?

— Свободы требуют.

— Какой свободы?

— Независимости чувству, уничтожения обязательных отношений.

— Разводов хотят, что ли? Или брак совсем долой?

— Я до сих пор еще не видал ни одной русской протестантки, которая уяснила бы мне, чего она хочет, — отвечал я.

— У нас этого нет. У нас, конечно, случается всякое, люди не ангелы; но женщина крепко держится семьи и мужа.

— Это, может быть, женщины стародавнего покроя?

— Нет, и молодые. Развод у нас невозможен, и случаи разводов очень редки.

— А житье врознь?

— Необыкновенно редко, и то у магнатов: а в среднем классе и в низшем едва ли встретите.

— Стало быть, в семьях все рай земной?

— Ну, рай не рай, деваться некуда. Наши женщины в семье необыкновенно терпеливы, тягучи, сносливы. Они, пожалуй, биготки; у них есть много странностей и недостатков, вследствие которых они дома не так обаятельны, как на бале. В раю с ними себя не всегда почувствуешь, — добавил К—ч, улыбаясь, — но зато всегда почувствуешь себя возле жены дома. Они не любят проводить век в сборах и, войдя в дом мужа, раз навсегда вхо-

дят в права жены. О! Наши женщины сами немножко деспотки; чего им эмансипироваться?

— Деспотки?

— То есть, как деспотки! Видите, здесь жене не приходит в голову мысль расставаться. Разве негодяй-муж ее бросит, а сама она к разлуке шага сделать не задумает. Наши женщины очень серьезно смотрят на...

— Ну, а если в семье нет лада?

— Она станет искать его.

— А как не сыщет?

— О! Это очень редко. Я вам говорю, они необыкновенно тягучи. Они переиспытывают все средства и не теряют надежды даже тогда, когда ее уже, кажется, совсем нет.

— Но есть же исключения? По некоторым данным можно с вами не согласиться, — сказал я, припоминая двоих моих знакомых, вывезших жен из Варшавы.

— Исключения есть везде, но, надеюсь, мы говорим не об исключениях. Развратные жены есть и в Америке; но американская беллетристика не переполнена ими именно потому, что экземпляры эти суть исключения. На-

ша литература тоже свободна от требований вашей темной эмансипации, потому что в обществе нет этого требования.

— Так у вас парижским бракам не сочувствуют?

— Положительно нет. Наши женщины слишком знают жизнь и не поставят на карту ни себя, ни детей. Э! Да у нас об этом и разговоров нет, — добавил К—ч, махнув рукою.

Диковинное дело! В половине варшавской чугунки уже не верят в социализм и не ждут счастья от брака вне брака. А по обоим концам Николаевской железной дороги немало людей, которые очень легко верят первому, и еще больше таких, которые ждут всего хорошего от второго. За Москву, к Курску в одну сторону и к Саратову в другую, над социализмом подсмеиваются; но из трех дам, встречающихся в любой гостиной, одна непременно уверена, что все несчастья человеческого рода происходят от того, что существует брак, или, яснее выразиться, что женщина не может, по своему произволу, сходитьсь и расходиться по первому желанию, не неся за это никакого упрека от общества. Нынешним ле-

том я ехал в дилижансе по выходящему из Москвы шоссе. Со мною ехали три незнакомые, еще довольно молодые дамы. В разговорах мало-помалу оказалось, что все они замужем, и все не живут со своими мужьями. Сверх того, каждая из них еще вспомнила, по крайней мере, трех своих приятельниц, которые тоже с мужьями разъехались.

Экая благодать какая! Интересно было бы собрать сведения, как это идет: из провинций ли в столицу собираются особы, не годные к сожителству в браке, или столицы служат для них рассадниками?

13-го сентября. Гродно.

Вчера мы не выехали. Зато я ночью прекрасно выспался и вдобавок видел наяву пани Софью, которую, до разговора с К—чем, считал “последнею из могикан” в своем роде. Видел я ее вот каким образом: только что я возвратился после обеда из клуба, Абрам приотворил дверь на один дюйм и, просунув нос, прошептал:

— Позволит мне пан войти?

— Ну, входи, — отвечал я съезжившемуся метрдотелю.

— Что я пану скажу, — начал он шепотом, подступая ко мне на цыпочках.

— Презент, верно, еще приготовил?

— Ай! Где ж там презент! — отвечал Абрам, махнув отчаянно рукою. — Чи пану не нужна другая кровать?

— Видишь, что она пустая. А тебе что?

— Видит пан што, — продолжал Абрам шепотом, — у тех пань, что вот в этом номере, нет кровати.

— Возьми, пожалуйста.

— От, покорно благодарю, покорно благодарю.

Через две минуты Абрам уже говорил за дверьми: “Нашел! Але сколько я бегал! Сколько искал! Нехай Бог боронит. Зараз внесу”. В ту же минуту крючок вверху двери щелкнул, и двери распахнулись. Прямо против моего дивана, за маленьким столиком, у окна, сидела молодая брюнетка, с немного желтоватым, болезненным, но прекрасным лицом. Она была в черном шерстяном платье: на шее у нее был большой платок, вязанный из черной и белой шерсти. Платок этот был натянут на левое плечо и закрывал от окна головку лежа-

щего на коленях ребенка, а в правой руке она держала ниточку, с привязанным на ней колечком слоновьей кости. А в номере у них, кажется, такой же холод, как и у меня. Тетки и панны Ксаверы не было целый день; они приехали уж вечером.

— Вот тебе одно, а вот и другое, — сказала тетка, входя в номер.

— Тетя! Дуся моя! — слышались поцелуи, и пани Софья разрыдалась. Насилу ее уговорили; она плакала от радости и через полчаса уехала, уверяя, что она очень здорова. Тетка, однако, отправила ее в своей найточанке. Я смотрел, как она торопливо усаживалась и, кивнув головой тетке, крикнула кучеру: “ruszaj!” (ступай).

— С Богом! — крикнула ей вслед тетка и кузина.

“Дай Бог счастья!” — подумал и я, когда найточанка скрылась за воротами Эстеркина заезда.

14-го сентября. Белосток.

Поезда из Вильна в Белосток ходят только два раза в неделю; нам приходилось ждать еще сутки, и мы решились ехать в Белосток

на почтовых. Дорога такая же мягкая, песчаная; ночь была необыкновенно темная и сырая. С вечера шел дождь. Замечательного по дороге ничего не встретилось, кроме того, что в городе Соколке, отстоящем от Гродна за 37 верст, не удалось найти сигар дороже 17-ти копеек серебром за десяток.

“Hotel Warszawsky” в Белостоке несравненно лучше своего гродненского тезки. Холодно в нем так же, как и у Эстерки, как и во всех домах, которые я видел, начиная с Вильна; но зато все очень чисто, прислуга опрятная, постельное белье подали сначала бывшее уже в употреблении, но зато сейчас же, по первому требованию, переменили. Дешевизна поражает меня. Нумер, правда, небольшой, — два злата (30 коп.), порция очень хорошего бифштекса с картофелем — 20 коп., бутылка прекрасного пива — 7 коп., самовар — 5 коп. Это просто изумительно после цен великороссийских, где в каждом “заведении” готовы ободраить человека не хуже, чем у Бореля или Дюнона.

Построек больших в Белостоке я не видал: домики все однообразные, в три и в пять

окон, крытые черепицей. Черепица и гонт постоянно встречаются на кровлях от самого Вильна, и кровли, начиная с Вильна, имеют боковой скат над фронтоном. Улицы в Белостоке полны народом. Евреи кишат кишмя. Шум, говор, спор, торг: весь город как базар. Хозяин “Warszawskie go Hotela” рассказал мне, что Белосток очень быстро увеличивается и торговля его сильно возрастает. О Гродне здесь никто и не думает. У Белостока своя торговля с Волынью и своя промышленность. 20 лет тому назад здесь началась выделка сукон. Отчего она началась здесь, а не в местах наибольшего добывания шерсти — не на Волыни, не около Харькова, не в Саратове, — отвечать не берусь, и мой хозяин, очень умный еврей, знающий белостокские дела, ничего не умел рассказать мне об этом. По его словам, начало суконной фабрикации здесь положил пруссак Захерт; за ним построили фабрики Бетхер и Могес. Последний имеет теперь огромную фабрику, пользующуюся прекрасной известностью. Я видел образцы трико и кортов фабрики Могеса: лучше нечего, кажется, желать. Такой товар не сразу показывают у Крунды-

шева, и не лучшие вещи можно видеть у Ширмера. Собственно сукон здесь не делают, а ткут трико и корты. Паровых фабрик, занятых этим производством, в Белостоке семь да в окрестностях Белостока тринадцать. Сверх того, в Супрасли, рядом с сильной фабрикой г. Легневского, идут еще пять небольших фабрик; но сукна, как я уже сказал, здесь не делают. Как в Англии есть фабрики, занятые исключительно производством одеял или пледов, так и здесь только одни трико или корты. Это показывает известное сознательное развитие промышленности. В Пензе, например, и в других смежных низовых местах, где встречаются суконные фабрики, видим совсем иное. Там сверх фабрик, выделывавших толстые солдатские сукна, фабрики тонкого товара идут весьма неказисто. Фабриканты мечутся из стороны в сторону, берутся за все: делают и сукна, и трико, и одеяла, и платки, и фланель, и, во-первых, все выделывают довольно плохо, а во-вторых, крупным шагом доходят до разорения. В Пензе года два тому назад запечатана фабрика человека, начавшего дело с большим капиталом. На ней не

только начали выделывать самые дорогие суконные материалы, но даже приготавливали китайские сукна, ярких цветов. Дело не шло. Потом хозяин нашел удобным возить товар для окончательной отделки в Москву, а потом еще более удобным совсем его никуда не отвозить, и в одно серое утро увидел слезы добрых сограждан, сам заплакал и удалился из Пензы.

— Наш Белосток — это литовский Манчестер, только шкода (жаль), железных дорог к нему нет, — сказал мой хозяин в заключение, после долгих рассказов о белостокской промышленности.

— Теперь и дорога железная есть, — отвечал я.

— Варшавская-то?

— Да.

— Э! Она нам никакая помощь.

— Отчего так?

— Что ж, из Варшавы и из Петербурга на наши фабрики возить нечего. Шерсть идет к нам на фурманах,[15] через Пинск с Волыни, из Харькова.

— Зато в Петербург можете отправлять то-

вар.

— Да это так; но нам нужно, чтоб шерсть ходче шла сюда.

— А разве бывает недостаток?

— Ой-ой! И какой еще. Закупят шерсть в Пруссию, а нового подвоза нет: жди его, пока по болоту прителепают на фурманах. Поганое дело с этим подвозом.

— А по Нареву?

— Давайте покой с тем Наревом!

— Разве по нем не идет шерсть?

— Идет, почему не идет! Только когда она выйдет и когда придет — это уж как трафится (случится), а в торговом деле это знаете что: простой на фабрике, разоренье.

— Так когда железную дорогу на Пинск выстроят, стало быть, много лучше будет? — спросил я.

— Только и просим у Бога этой дороги.

А отчего именно в Белостоке разрослась фабрикация трико, так-таки и не добился. Впрочем, ведь нет же указаний, почему косы делают в Рыльске! Так, фон Филимонов там жил — оттого и косы делают, а здесь Захерт жил — оттого трико делают.

Из Белостока за 10 рублей наняли тройку лошадей, до Беловежской пущи. Говорят, дорога необыкновенно тяжелая: песок по ступицу.

15-го сентября. Беловежа.

Дорога от Белостока до Беловежской пущи, в самом деле, утомительная. Песок и лес, лес и песок. Около деревень и на перекрестках дорог встречаются кучки деревянных крестов. Иные из них очень высоки, выше деревянных колоколен: просто целая сосна острогана, и вверху врублена крестовая перекладина. На трех перекрестках мы насчитали по 14-ти крестов в группе. Кресты такие ставятся здесь для обращения внимания неба к полевому урожаю. Так это объясняют мужики, так объяснял и Сырокомля: не помогает ничто на голодной литовской почве, — говорит даровитый любимец литовской музыки.[16]

Простолюдины от Белостока говорят уже очень дурно: и по-русски, и по-малороссийски, и по-польски разговориться с ними очень трудно, но по-польски все-таки легче. Ехали мы на одних лошадях до Беловежи, потому что почтового тракта в пуще нет. Тяну-

лись целехонький день, с кормежкой (z rorasem). Удивительное дело, что здесь ни в одной корчме, ни в одном доме еще не вставляют двойных рам, тогда как везде холод нестерпимый. “Чтоб блохи поумирали”, — объяснил нам один сельский начальник. Недурно! Из-за вражды к блохам лишать себя угла, в котором было бы можно обогреться. Я совсем расхворался, но мужаюсь; зато мой сопутник и тешит меня. Судьба, наделив его прекрасным здоровьем, наказала любовью к гомеопатии и верою в неотразимую силу бесконечно малых приемов. С тех пор как я не успеваю переменять носовых платков и глаза мои начинают напоминать какерлака, он уже дал мне проглотить каплю *aconitum*, каплю *chamomilla*, каплю *arsenicum* в каком-то миллионном делении и две капли *puch vomica*. Принимать все это для меня нетрудно, ибо я уверен, что и вся баночка *arsenicum*, назначенная, вероятно, на сто человек, в со- том делении не отравит ни одной мыши, но сил нет удержаться от смеха, глядя на его милое попечение обо мне и добродушное доверие к волшебной силе своих стеклянных на-

перстков с каплею ромашки, разведенною в 300 каплях спирта. После каждой капли иного свойства он уверяет меня, что мне лучше; я соглашаюсь, но вслед затем начинаю чихать, так что лесное эхо разносит мое взвизгиванье, и мой благодушный врач говорит:

— Опять хуже! Вот надуло: у окна сидели там, на станции. Надо принять каплю kreasotum.

Я соглашаюсь, что можно принять и каплю креазота.

Не доезжая верст десяти до пущи, мы осмеркли и, расспрашивая у встречных крестьян дорогу, узнали, что г. Н—де, которого нужно видеть моему товарищу, живет не в Беловеже, стоящей среди самой пущи, а в Гайновщизне, 2 или 1 1/2 версты не доезжая до заповедного леса, обитаемого остатками зубров, “царских зверей”, как называют их некоторые в здешнем крае. Кое-как добрались мы до Гайновки или Гайновщизны, где снова оказалось, что Н—де живет не в деревне, а еще с полверсты, у леса.

— Как ехать? — спрашиваем мы.

— Сквозь, гостыньцем. — Только и ответа.

Кто привык к здешнему краю и к здешней “мове” (речи), для того это понятно; но я никак не могу привыкнуть, что довольно сказать “ступай скрозь гостыньцем”, [17] — и приедешь, куда требуется. Однако приехали. У г. Н—де нездорова жена, помещение тесное, а мне совсем разломило голову. Здесь мы узнали, что хотя и разрешено делать изыскания для железной дороги от Пинска в Белосток, о которой Бога просят и молят в Белостоке, а может быть, и в Пинске и еще в двадцати местах, но что еще нет разрешения изыскателям идти через Беловежскую пуцу. Что же делать, если они подойдут к пуце, а разрешения еще не будет? Ведь зима уж на носу!

Наконец нас проводили на чердак, а с чердака в комнатку под крышей, где мы нашли две кровати, и я постарался заснуть как можно скорее. Но меня в холодной постели одолел кашель, и даже 1/100 часть капли ромашечного настоя, которою мой товарищ угостил меня грядуща ко сну, не помогала. Я засыпал и беспрестанно просыпался, и в коротких, прерывистых сновидениях моему воспаленному мозгу грезились то моя гродненская

соседка, с ее милыми речами, то дама, представляющая какой-то вексель и кормовые деньги, то рогатый зубр, которого так трудно видеть и которого я завтра увижу, то лысый профессор в калмыцком тулупе и с калмыцкой логикой. Едва-едва я заснул и проспал до одиннадцати часов, когда мне сказали, что чай готов, лошади запряжены и послана об- лава выгнать из пуши нескольких зубров.

16-го сентября. Беловежа.

За столом у Н—де, собираясь в первый раз видеть зубров, — я в первый раз, с выезда из Петербурга, увидел дам в светлых платьях, и — удивительное дело! — глаза мои так незаметно привыкли к траурному женскому на- ряду, что светлые платья сегодня мне показались уже чем-то странным. “Привычка — чудовище!” — сказал Шекспир; “без привычки кома грязи не съешь, — говорит русский мужик, — а попривыкнешь — ничего”. Все ка- жется в порядке вещей, и с окружающею чер- нотою внешнею свыкаешься, как свыкаешься с чернотою внутреннею; даже не тяготишься ею. Это скверная сторона привычки!

Какой охотник при слове “Беловежская пу-

ца” не почувствует, что кровь его движется быстрее обыкновенного?.. Здесь, в этом девственном лесу, раскинувшемся более чем на 106 тысячах десятинах, уцелели зубры, порода зверей, исчезнувших с лица земного. Товарищ мой говорит, что он страстный охотник, и хотя я не подозревал в нем этой страсти, однако не смею не верить его добровольному показанию, ибо уже один раз впал в жестокую ошибку насчет отличающих его качеств. Наслушавшись, в продолжение нашего знакомства и особенно теперь, в дороге, о мирных стремлениях духа моего дорожного товарища и зная его за нежного отца и еще нежнейшего мужа, я никак не подозревал в нем доблестей Марса и, глядя на его воинственный башлык, под которым соображалось действие капли ромашкового настоя на мой организм, я не раз думал: зачем влачит при своем бедре смертоносное оружие сей Воин смирный среди мечей?

Но каково же было мое изумление, когда я, в самую критическую минуту своего насморка, увидел в сундуке моего спутника (он в дороге чемодану предпочитает сундучок) орден

с мечами, принадлежащий его собственной особе! Я просто растерялся и уж теперь решительно не доверяю своим соображениям насчет его дарований, а верю, что он и воин храбрый, и охотник страстный, и гомеопат сведущий. При таких шансах ошибаться — лучше уж верить, “не мудрствуя лукаво”. Когда мы въехали в пущу, что случилось минут через 20 по выходе из передней г. Н—де, в моем товарище действительно, кажется, дрогнула охотничья жилка, потому что он снял башлык, хотя сегодня погода изменилась и на дворе не более 8 или 10 градусов тепла, и окутал шею только одним воротником своей енотовой шубы. До сих пор он такого вольнодумства против своего гигиенического кодекса ни разу себе не позволял в моем присутствии. К несчастью, я не могу говорить, потому что от разговора на воздухе усиливается мой кашель, и не могу выпросить у него, что чувствует охотничье сердце, когда ждет, что вот-вот из чащи выскочит огромный горбатый зверь, сильным прыжком перелетит через узенькую просеку и опять тяжело захрустит сухим валежником или понесется могу-

чими скачками по лесной прогалине? Лишенный употребления голоса, я естественным образом сосредоточиваюсь в себе и начинаю припоминать известные мне данные о зубрах и о Беловежской пуще.

Беловежская пуща, лежащая в Пружанском уезде Гродненской губернии, есть последний памятник непроходимых литовских лесов. Она, как я уже сказал, занимает с лишком сто шесть тысяч десятин. В пуще есть несколько болот, между которыми наиболее известны, по своей величине, Теплово или Денисове болото. По пуще текут речки: Лесна, Переволока, Перерва, Белая, Нарев и Наревка; сверх того здесь бежит несколько ручьев, падающих в эти речки. Лесонасаждения Беловежской пущи чрезвычайно разнообразны: здесь растет сосна, ясень, клен, дуб, вяз, береза, бересть и осина. Сверх заболотившихся насаждений лес вообще рослый, стройный и весьма доброкачественный. Особенно сосна здесь достигает громадных размеров. Теперь еще можно видеть экземпляры этого дерева вышиною в 30 аршин и около 8 вершков в тонком отрубе. По берегам Нарева, Наревки,

Лесны, Белой и других речек и ручьев стелются луга, с которых назначено заготавливать сено для зубров на то время, когда животное не может достать себе пищи из-под снега. Протекающие по пуще воды очень чисты, и прихотливый на питье зубр в целой пуще не встречает недостатка для удовлетворения жажды. Говорят, что в пуще есть немало урочищ, в которых еще никогда не стучал топор и не была нога человека. Есть урочище, славящееся своею неизвестностью и носящее название “Незнановка”. По окраинам пущи и в середине ее, на лесных прогалинах, стоит несколько сел и деревень, между которыми наиболее известны: Гайновка, Дубины, Новосады, Огородники, Гнилец, Заболотчино, Ольховка, Бабья гора, Бровен, Намержа, Яловики, Борки, Кивачин, Окольник, Дедовлянск, Подбелск, Королев мост, Столповиск и др. В самой середине лесной пущи также очень много деревень и селений, из которых одно наиболее замечательное, Беловежа, лежит на нашем пути. Дорога через пущу идет от деревни Липинье, через урочища Медное, Березовую гать, Креницу, Мокрый луг, Батырьеву гору и Беловеж.

Из Беловежи она опять идет, пущею же, по урочищам Тихореву, Перерову и у Белого леса выходит в деревню Кивачин, которая стоит уже на противоположной стороне Пущи, с въезда из Липян. На одиннадцатой версте с въезда, по левую сторону дороги, находится памятник царской охоты, бывшей здесь в 1860 году. Памятник состоит из чугунного пьедестала, на котором рельефными, позолоченными буквами написано, когда производилась охота, кто в ней принимал участие и сколько какого зверя убито. Я не записал этих надписей и теперь уж не могу их хорошенько припомнить. Знаю только, что в числе лиц, разделявших с государем эту охоту, названо несколько владельцев особ, несколько лиц, носящих фамилии, уважаемые в польском и литовском крае, из русских помню имя генерала Назимова. Затем на подписях много немецких и других иностранных имен, из которых, кроме имени художника Зичи, не помню ни одного. Число убитых кабанов, серн и ланей также не помню, а всех зубров убито 32, и из них 28 самим государем. На пьедестале памятника стоит отлитая из чугуна фигура

зубра, в натуральную величину. Фигура животного спереди очень хороша и верна, но зад удивительно перепалый и не соответствующий передней части. Когда я смотрел на эту фигуру во второй раз, уже видевши живых зубров, то несоответственность форм чугунового зубра на памятнике показалась мне еще безобразнее. Около памятника расчищена небольшая площадка, заканчивающаяся забором с воротами: здесь начинается зверинец, назначенный для царской охоты. Около ворот стояли три длинные литовские телеги, на которых приехали стрелки, присланные для того, чтобы отыскать и показать нам зубров, оставшихся в зверинце после охоты, о которой свидетельствует памятник. День был серый, мгlistая сырость стояла в воздухе и увеличивала дикость представившегося лесного вида. Три тонкие литвина, с исхудалыми серыми лицами и длинными, жидкими волосами, прилипшими от влаги к щекам, при нашем появлении торопливо схватили с голов свои соломенные шляпы с широкими полями и подобострастно отвесили несколько низких поклонов, внушенных им, конечно, воин-

ственным видом моего товарища. Один из них, не успев вдоволь откланяться, “лани испуганной быстрей” кинулся в ворота, и оттуда поспешно вышли семь стрелков. Они — здешние же окрестные жители, и сверх барсучьих торб, которые у трех из них висели через плечи, их ничем нельзя было отличить от обыкновенного литовского крестьянина: те же беловатые свитки, широкие ременные пояса с белой бляхой, порты толстого холста, обмотанные оборкой, идущей от обуви, серовато-желтые лица, длинные волосы, висящие прямыми, редкими космами, и смирные, добродушные глаза, с каким-то задумчивым и в то же время испуганным выражением. Трое из них, однако, были в старых солдатских фуражках: вероятно, они из отставных солдат; а может быть, и на службе здесь — не спросил как-то. Тотчас за забором стоит небольшая новая хата, в которой живут стражники. Против нее гниют, под открытым небом, несколько станов колес, на которых привезли чугунового зубра, стоящего на пьедестале пред входом в зверинец. Пройдя около ста сажен по мокрой траве, мы встретили новую ограду.

Это — место, в которое были загнаны зубры, лоси, лани (danielki) и прочая дичь, назначенная для высочайшей охоты. Внутри этой ограды расчищена прямолинейная аллея, вдоль которой направляли выпускаемых из загонов зверей, а с левой стороны этой же аллеи устроены рубленые крытые павильоны, в которых стояли лица, приглашенные к участию в охоте государя. Дичь, выпущенная из загонов, шла по этой аллее, вдоль павильонов, занятых участниками царской охоты, и не могла сворачивать в сторону от охотников. Место, на котором стоял государь и с которого он убил наибольшее число застреленных в эту охоту зубров, находится в начале линии и на плане Беловежской пушчи обозначено золотой короной, и самое урочище на этом плане названо: “Царское место”. Далее за оградой этого загона начинается собственно зверинец. Это часть леса, около 2-х верст в длину и около версты в ширину, обнесенное деревянною загородью. По зверинцу протекает часть речки Креницы, из которой звери пьют воду, а вправо от загона к хате стражников, под довольно длинным навесом, устроены решетча-

тые ясли, в которые зимою складывается для зубров сено. Провожавший нас стрелок рассказывал, что зимою живущие в зверинце зубры смело подходят к этим яслям и не пугаются людей, которые закладывают им нового корма. “Отойдут, — говорит, — шагов на десять и ждут, пока не уйдешь прочь, а в сторону не бежат”. О жизни и нравах зубров от стрелков ничего узнать не удалось, потому что они, кажется, очень мало интересуются знакомством с натурою этого интересного животного. Говорят только, что в стаде зубр для человека не опасен, но даже сам избегает встречи с человеком, а ходя “по едынче”, т. е. одиноко бродячий, становится свирепым, не только не избегает человека, но ни за что не уступит ему дороги и способен отомстить за причиняемое ему беспокойство. Еще прежде, чем я думал когда-нибудь попасть в Беловежу и увидеть живых представителей исчезнувшей животной породы, мне было известно, что при издании (10-го сентября 1802 года) указа, запретившего, под страхом тяжкого наказания, охоту на живущих в пуще зубров, их насчитывали в Беловеже всего 300 штук. В

начале зимы 1821 года, по Бринкену (см. "Mémoire descriptif sur la forêt impériale de Bialowiez", p. 62), <их было 732>, а в настоящее время их здесь считают около 1500 штук. Счет зубров производится после первой пороши, по следам, в местах, которыми они ходят к водопою. Пересчитать их другим, более точным способом, признается невозможным, и потому полагают, что, действительно, число зубров, живущих в Беловежской пуще, более или менее больше количества, вычисляемого по следам, чему отчасти можно верить, потому что нельзя допустить со стороны зубров особенной аккуратности, с которой они должны в назначенный день являться к известным местам, для доставления возможности составить о них поголовную или, правильнее сказать, покопытную годовичную перепись. Ошибки всегда должны быть весьма солидные. Но если система покопытной зубровой переписи исключает возможность приписыванья и если к этому приписыванью нет побудительных причин (за что я, конечно, ручаться не смею), то, разумеется, действительное число зубров должно быть выше счетного. Это за-

ключение я позволяю себе сделать в силу следующих соображений. При всем греховном равнодушии лиц, близких Беловежской пуще, к изучению царского зверя, ими дознано, что зубры, животные табунного свойства, отлучают из своих стад “стариков”, т. е. самцов, которые, после известного возраста, признаются своим обществом не годными к производительности и изгоняются из стада. Не рассказали мне, чем определяется эта неспособность: старостью ли лет и сопряженным с нею худосочием, или тяжестью тела, могущею обременять зубриц? Но довольно того, что зубровые стада постоянно содержат в себе каждое около 40 особей и очень редко переходит за это число, и то на две или три штуки. А как в каждом стаде встречаются от пяти до десяти молодых телят-сосунов, то можно полагать, что каждое стадо ежегодно из своей среды получает такое число старых быков, негодных для самок. Лишенные наивысшего удовольствия супружеской жизни, зубры бродят поодиночке, не составляя из себе подобных несчастливцев особого кружка изгнанников, и, конечно, в счет, очень легко, могут не попадать.

А что этих целомудренных старцев немало скитается по Беловежской пуце — это я могу допустить, во-первых, вследствие сделанных мною соображений о молодом приплоде и постоянном комплекте стада, а во-вторых, в силу слышанных мною разговоров о частых встречах со “стариками” на огромном протяжении пуцы. Вот, однако, наиточнейшая цифра последнего перече́та зубров, произведенного 15-го января 1862 года:

Оказалось зубров: старых 1124

“ “ молодых 127

—

Всего 1251

О том, составляются ли новые стада, как они составляются и сколько их прибавляется, мне узнать не удалось, и я желаю, чтобы человек, которому встретится возможность ближе меня познакомиться с Беловежскою пуцею, обратил внимание на это обстоятельство и на поверку тех сведений о зубрах, которые я запишу ниже. Я собирал их из разговоров с крестьянами, писарями, старшинами и буду записывать, не стесняясь скудными и

недостаточно верными сказаниями, существующими об этих животных в нашей литературе. Притом и этих скудных сказаний так немного, а зубры, действительно, так дороги стране, в которой лежит их единственный в наше время приют, что не будет излишним знать простой, но не лишенный здравого смысла взгляд туземных крестьян на жизнь и нравы рогатого обитателя Беловежской пущи. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что здешняя осока, т. е. окрестные крестьяне, обязанные заготавливать зимний корм для зубров и гасить лесные пожары, случающиеся в пуще, дают гораздо более живых и вероятных сведений о зубре, чем люди, у которых я, в своей наивной простоте, предполагал найти эти сведения. По крайней мере, мною замечено, что литовский мужик, живущий в селе Беловеже и других деревнях, близких к пуще, говорит, как говорят люди, знающие, что они скажут, тогда как другие лица, которым, по теории вероятностей, следовало бы знать многое, “вышивают”, как говорила старшая из моих гродненских соседок, импровизируют ответ, или, попросту говоря, “язы-

ком лапти плетут”.

Беловежская пуца сохранением своего леса обязана, во-первых, недостатку сбыта лесных материалов, ибо сверх окрестных крестьян леса продать некому и 500 десятин, назначенных ежегодно на сруб из числа ста шести тысяч десятин, сбыть некуда, а во-вторых, — зубрам. Благодаря зубрам, обратившим на Беловежскую пуцу особое внимание правительства, последний остаток старинных литовских лесов прочно обеспечен от обращения его в германский лесок, в котором каждый пернатый жилец обязан иметь установленный германскими законами паспорт и пользуется свободой, не способной оскорбить даже сарептского гернгутера. При всем неуважении к лесным законам, при всем безрассудстве, с которым русские, малороссийские, литовские и польские помещики истребляют свои леса, утешаясь, что “на наш век станет”, Беловежская пуца, действительно, ограждена от истребления. Это единственный лес (не говоря о минском крае и полесьях), который, стоя среди городов, где дрова и вообще лесной

материал ценен (как, например, в Белостоке), до сих пор не только цел, но даже сильно требует эксплуатации посредством правильных порубок и очистки от валежника и порослей, препятствующих ровному обсеменению. Но сбыть 500 десятин, ежегодно назначенных к вырубке, некуда, а о валежнике, заслоняющем от света нужные для зубра травы, и говорить нечего. Сбыт этот придет не прежде проведения через Беловежскую пуцу железной дороги от вод днепровского бассейна к Петербургско-варшавской железной дороге, т. е. от Пинска, через Пружаны, до Белостока. Только с этою дорогою казна может надеяться получить со ста тысяч десятин беловежского леса более 25 000 рублей серебром, свыше которых ее доходы с Беловежской пуцы не простирались в самые лучшие годы, когда по лесу производился выруб деревьев на выбор и когда убедились, что зубр, животное неробкое, не пугается людей, не боится шума и, спокойно подходя к только что сваленному дереву, аппетитно объедает листья с его вершины. Но дорога эта еще до сих пор только в изысканиях, которые хотя идут и очень удачно, но... по

вехам, как известно, ничего не возят. А от ве-
хи до рельса в ином крае, ой, ой, как еще да-
леко! Под рогатыми лбами беловежских зуб-
ров, конечно, нет мысли гордиться своим зна-
чением для Беловежской пуши, как, у всех ро-
гоносцев не бывает мысли гордиться своим
значением для личностей, эксплуатирующих
эти рога; но, тем не менее, нельзя сомневать-
ся, что зубры своим присутствием в Беловеже
сохраняют этот громадный лес от истребле-
ния и будут виновниками введения в нем
правильного лесного хозяйства, необходимо-
го как в интересах казны, так и в интересах
самой дачи, земля которой способна выдвиг-
нуть новый лес вместо старых, сгнивающих и
валящихся без всякой пользы насаждений.
Но обращаюсь снова к самим зубрам, до сви-
дания с которыми я наговорил, может быть,
больше, чем следовало, тем более, что я еще
должен сказать кое-что прежде, чем опишу,
как мы с моим спутником бестрепетно
встретили беловежского великана.

Зубр, он же тур, дикий бык и бизон, в дав-
ние времена встречался в очень многих ме-

стах. Чучела и остовы этого животного находятся в нескольких музеях и зоологических кабинетах. В России он водился в самых разнообразных полосах,[18] чему, сверх исторических указаний на княжеские охоты, некоторым доказательством могут служить сохранившиеся до сих пор названия урочищ “турово”, “зуброво”. Даже где в настоящее время не остается следа старых лесов, там есть еще села, носящие такие названия. Целые костяки или отдельные части зубровых костяков и теперь еще иногда отыскиваются в таких местах, где о зубрах никогда не слыхали не только крестьяне, но где даже и те, которые в своих собраниях, и те имеют о зубрах столько же понятия, как еврейский хасид о вкусе вестфальского окорока из милютиных лавок. Весною 1862 года, при прорыве мельничной плотины в селе Беклемишеве, Алексеевское тож, отстоящем в 25-ти верстах от г. Орла (где леса уже давно изведены наитщательнейшими стараниями просвещенного сословия), водою вымыло лобовую кость зубра с уцелевшими рогами и верхнюю часть передней лопатки. Нет сомнения, что и теперь зубр мог бы жить

не в одной Беловежской пуце, а существующее у некоторых мнение, будто бы другие лесистые места России для разведения зубров не годятся, не представляется доказательным. Климатические условия, в которых находится Беловежская пуца, ничем резко не отличаются от климата многих лесных мест империи, где в давние времена водились зубры и где они беспощадно выбиты, хотя леса, служившие им жилищем, и теперь представляют те же выгоды для жизни “царского зверя”. Любимые травы зубра: паршидло (*Spiraea ulmarea*), зараза (*Ranunculus acris*), храбуст (*Cniens oleraceus*) и дубровка (*Autoxantum odoratum*), встречаются решительно во всех лесах по одной с Беловежью географической широте. Сверх того, зубр питается не исключительно ими: он ест и сено, и молодые лесные побеги, особенно осинник, а зимою, когда настает для него пост, питается и древесною корою. Правда, несколько опытов переведения зубров были неудачны; но нужно знать, как делались эти переводы или перевозки. Пара зубров приходила из просторной Беловежи куда-нибудь в огороженный парк, утомленная дорогой,

скучающая. Опасаясь за жизнь переселенцев, их выпускали в леса, а там их ожидали волки и медведи. Зубр не лось и не медведь; ему не нужна дёбрь, лесная труппа, а нужно хорошее лесное пастбище, которого найти нетрудно, да ограждение от убийства. До изобретения огнестрельного оружия охота на зубра была сопряжена с большой опасностью и туркий рог действительно был серьезным трофеем для победителя; а с ружьем убить зубра, смиренно стоящего перед прицелом всем своим огромным телом, дело едва ли не самое легкое. Только закон, ограждающий зубров в Беловеже, спасет их от избиения. Особенно в Беловеже, окруженной часто голодающим населением, их давно уничтожили бы. Убить зубра для крестьянина значит не только спасти себя от голода, но с целою семьею всю зиму есть вкусное мясо и заготовить огромною кожей, пригодной в хозяйстве на всякую потребу.

Этим я заканчиваю изложение сведений, на основании которых построил свои заключения о зубрах, и приступаю к тому, что ожи-

дало нас в беловежском зверинце.

Перейдя последнюю ограду загона, в котором происходила два года назад большая охота, мы еще долгонько шли по довольно густому лесу. Дождик, начавший накрапывать при самом нашем вступлении в зверинец, все расходился сильнее и крупными каплями тяжело стучал по листьям. Длинная, мокрая трава, стелющаяся по частому, хотя и очень мелкому валежнику, сделалась необыкновенно скользкою, так что идти было довольно трудно. Привычные же к этой ходьбе стрелки шли довольно скоро, к тому же они были одеты в коротеньких свитках по колени, а я путался в моей ватной шинели.

Через полчаса ходьбы мы вышли на продолговатую лужайку, окруженную со всех сторон довольно крупным смешанным лесом. Проводники поставили нас за два большие пня, которые должны были закрывать нас от зубров, когда они выйдут на поляну, а сами отправились в глубину леса. Дождь не прекращался. Я несколько раз пробовал влезть

на дерево, но это оказалось невозможным, шинель мне становилась решительно в тягость. Через час или полтора по удалении облавы в глубину леса раздались смешанные голоса. Голоса эти сначала были едва слышны, но потом медленно приближались и, наконец, послышались так близко, что мы все обратились в одно внимание: но зубр не показывался. Через полчаса на поляне показалась только фигура измокшего стрелка; за ним вышел другой, третий и так далее. Зубров в обойденной части зверинца, значит, не было, несмотря на то, что один из посланных утром людей видел их.

— Верно, поднялись пить, — сказал один из стрелков.

— Что же теперь делать? — сказали мы, теряя сладкую надежду видеть живого зубра в Беловежской пуще.

— Заходи к реке! — крикнул тот же стрелок своим товарищам. — Заходи, они там теперь, а вы, господа, идите вот сюда.

Он осмотрел на другой стороне поляны два дерева и поставил нас за ними, оставив при нас одного из стрелков, обязанного дать знать голосом облаве, если зубры отправятся в обход занятого нами места. Опять та же история: сначала люди скрылись в лесную чащу, только по другую сторону лощины; затем настала тишина; издалека чуть-чуть донесся слабый звук, звуки становятся чаще, и в них можно распознать подражание собачьему лаю, и лай этот все приближается ближе и ближе; глаза наши устремлены в противоположную чащу леса, и сердце волнуется трепетным ожиданием невиданного зрелища; но зрелища этого нет как нет.

— Неужели опять не выгонят ни одного зубра? — спросил я оставленного с нами стрелка.

— А кто знает? Иной раз так сразу и есть, а другой раз гукаешь, гукаешь, как черт их возьмет.

— А часто приходится их нагонять?

— Нет. Вот сей год только недавно-таки нагоняли.

— Для кого же?

— Управляющий недавно проезжал, вот недавно-таки, недавненько.

— Много ж на него нагнали?

— Штук, сдается, с пятнадцать.

— Стадо?

— А стадо.

— Что ж такое маленькое?

— Столько их здесь осталось.

— А сколько было?

— Да было что-то с семьдесят.

— Где ж они теперь?

— Да вот же царь, как охотился, так забил с тридцать.

— А остальные где?

— А то зимой поуходили из зверинца.

— Как поуходили?

— Через забор.

— Зубры-то! Через забор? — спросил я с глубочайшим удивлением.

— Ага! — отвечал утвердительно стрелок.

— Как же они — перепрыгнули, что ли, через забор?

— Нет. Мы нарочно в одном месте забор раскидали, да и повыпустили что-то с тридцать или трохи (немного) поменьше.

— Зачем же их выпустили?

— Бо (потому что) сена боялись, чи достанет в зверинце; так и выпустили: нехай (пусть) себе пасутся по пуще.

— Так к этим яслям, что около загона, только 15 штук и приходит?

— Только и приходит.

— А недалеко здесь?..

— Тссс! — шепнул стрелок, оборотив ухо к той стороне, откуда неслись голоса облавы.

— Что ты слышишь? — спросил я его шепотом.

Стрелок опять повторил свое “тссс” и, схватив меня за руку, вдруг бросился в сторону. Беспреданно спотыкаясь о мокрый валежник, я не мог себе дать отчета: куда, зачем и отчего мы бежим вдоль опушки поляны, а

стрелок на все вопросы, сделанные ему во время беглого марша, отвечал однообразным “тссс”, и больше ничего. Добежав до половины поляны, стрелок неожиданно бросился к толстому пню и стал на колени, и я сделал то же. В эту минуту я почувствовал, что более бежать не могу, и в эту же минуту с левой стороны услышал в бору тяжелый треск, которого я ни с чем сравнить не умею. Казалось, как будто несколько деревьев валятся, обламывая при падении свои сучья.

— Зубры! — шепнул мой проводник, совсем закрываясь пнем.

— Где?

— Тссс!

Треск на минуту затих, и послышалось какое-то тоже ни с чем неудобосравнимое не то хрюканье, не то квохтанье.

— Повернут, — шепнул мой стрелок и бросился вперед вдоль той же поляны; но голоса

раздавались кругом, и стаду ничего не оставалось, как идти вперед на нас, потому что назад ему невозможно было идти. Пробежав несколько шагов вдоль опушки, стрелок снова припал за пень, и мы опять сделали то же. Треск и фыркание стали совсем близехонько. Минута действительно прекрасная!

— Вот он! — суетливо шепнул стрелок.

Мы стали смотреть по указанному направлению, но ничего не видали. Треск на минуту затих; слышно было, что стадо снова остановилось и соображало, как бы избежать перехода поляны, на которую его нагоняли раздававшиеся сзади голоса. Сначала сквозь деревья показалась черная масса, в которой, за ветвями довольно высоких кустарников, нельзя было распознать фигуры зверя. Но преследующее зубров гавканье людей собачьими голосами настигало их так близко, что они должны были решиться перейти поляну. Определив себе ясно положение нагнанных зубров, мы стали за деревья и не сводили глаз со стада, стараясь уловить каждое его движе-

ние.

Сначала из-за деревьев показался один огромный зубр. Он был весь мокр и казался темно-кари́м или как будто осмоленным. Осторожно выдвинув на поляну переднюю часть своего исполинского тела, он повел глазами направо, налево и, постояв несколько секунд, вышел из леса и пошел через поляну к другой стороне. За ним разом вышло все стадо, состоящее из одиннадцати больших животных и двух сосунков. В стаде были два или три очень хорошие экземпляра: рослые, сильные и энергичные. Все зубры были мокры от дождя, и все казались темно-кари́ми, даже почти черными. Новейшими беллетристами неоднократно было заявлено неудобство пером изображать неземные красоты земных созданий: описания ручек, ножек, губок и очей, заставляющих самих фарисеев забыть для них закон субботы, теперь не в употреблении. Но *quod licet Jovi, non licet bovi*, что дозволяется Юпитеру, того не дозволяется быку. Быка можно попробовать описать.

Зубр, шедший впереди стада, очень велик. Ни на одном заводе, отличающемся крупностью породы рогатого скота, нельзя встретить быка, который сравнился бы с ним ростом и длиной. Рост зубра кажется еще огромнее от его высокого горба над передней частью. Шерсть на горбу гораздо длиннее, чем на всем теле, и с середины красиво распадается небольшими космами. Огромную тупую морду, с страшными рогами, служащими орудием против медведя, волка и человека, животное несет понуря вниз и не поднимает ее высоко. Под нижней челюстью у самцов висит клоч длинных волос, который обыкновенно называется бороною. Задняя часть зубров и зубриц похожа на заднюю часть крупного рогатого скота, с тою разницею, что все отдельные части, сообразно общей величине животного, гораздо больше. Самки, называемые здесь и “зубрицами”, и “коровами”, меньше самцов, несколько тоньше и, так сказать, аккуратнее. Но всего интереснее мне было видеть зубрят, или, как их здесь называют, “телят”. Два зубренка, бежавшие за матками, очевидно родились только нынешним летом.

Теперь они не более обыкновенного 3-х, 4-месячного теленка. Черные, с комолыми, тупыми мордочками, почти без шей, с толстым чурбановатым тельцем, они прыгали на своих толстых, довольно неуклюжих ножках. В густой траве не видно было колен будущих беловежских граждан, и потому казалось, что ноги их не снабжены надлежащими суставами, а просто воткнуты в тело, как ходули. Вообще зубрята необыкновенно смешны и милы оригинальностью своего вида. Смотря на их маленькое, толстенное, обрубчатое тельце, невольно вспоминаешь и карликов, и Собакевича, и его стулья. Разница в том, что на детском теле карлика мы привыкли видеть старческое лицо, а у зубренка вы видите на крошечном старческом тельце, претендующем на быкообразность и даже медведеобразность, беззаботную мордочку с телячьими глазенками, но, при всем том, это смешное созданище каждым своим движением старается заявить свою солидарность с великаном, за которым оно следует. Они, как стулья Собакевича, как бы говорят: «А посмотри-ка на нас! Мы маленькие, и тоже Собакевичи. Под нами

тоже будет хрустеть вереск, и другой тебе подобный “зверь, в штанах ходящий”, будет смотреть на нас, спрятавшись за дерево”. В этих двух маленьких фигурках есть какое-то неуловимо милое, смешное и наивное важничанье собою, какая-то забавная смесь неуклюжества и... своего рода грации.

Дойдя за передовым зубром до половины полянки, стадо остановилось, давая нам полную возможность вдоволь полюбоваться собою. Передовой зубр тревожно взглянул в глубь леса, начинающегося по другой бок поляны; глянул налево к стороне загона, в котором производилась охота; потом направо, где стояли мы, притаясь за деревьями, и потом, с первого же шага, тронулся рысью в лес, а за ним, ни на шаг не отставая, побежало стадо и поскакали оба молодые зубренка. Мы бросились вслед за стадом, чтобы еще взглянуть в зад убегавших животных; но их уже не было видно в лесной чаще, и только новый треск валежника да сильный молочный запах, совершенно напоминающий запах, свойственный обыкновенной дойной корове, несясь по

ветру, указывал в лесу место, по которому бежало встревоженное для нас зубровое стадо.

Доставив себе удовольствие, которое достается не всякому, мы пошли обратно к загону. Стрелки, один за другим, повыходили из леса и окружили нас у входа в загон. Один из них принес нам пук зеленой травы зубровки, которую зубры предпочитают другим травам. Она теперь очень стара и начинает желтеть, довольно жестка и с вида похожа на обыкновенную осоку, но не имеет таких режущих краев, как осока. Одно просвещенное лицо, встретившее нас при выходе из зверинца, заметило, впрочем, что принесенная нам стрелками трава не зубровка, а только похожа на нее. Сомнение это основывалось на том, что принесенная нам зубровка не имеет запаха, отличающего это растение; но стрелки единогласно утверждали, что это действительно зубровка, и говорили, что зубровка осенью не имеет запаха, по которому летом и весной ее можно отличить от похожих на нее трав. Кто из них правее — судить не могу, а за что купил, за то и продаю. Кроме 12–15 зубров, в бе-

ловежском зверинце есть самое незначительное число представителей других животных пород, обитающих в Беловежской пуще. Незначительность числа живущих в зверинце особей нам объяснили тем, что “беловежский зверинец собственно не зверинец, а, так сказать, садок, в который загоняется зверь для царских охот, и что держать здесь много зверей постоянно нет никакой нужды”.

Лошади наши были поручены крестьянам, привезшим стрелков. Шуба моего товарища оставалась на телеге, брошенная мехом вверх. Когда мы, после трех или более часов пребывания в зверинце в ожидании зубров, снова подошли к своему экипажу, шуба лежала так же, как мы ее оставили, и была совершенно мокра.

— Зачем вы не повернули футру (мех) сукном вверх или не спрятали ее под телегу? — спросил крестьян мой товарищ, содрогаясь от мысли влезть в мокрую шубу.

— Не смели, пане!

— Чего ж тут не сметь? Если бы вы дурное что сделали, а то прибрать от дождя не смели? А?!

— Не смели, пане!

— Да чего ж тут не сметь-то? — продолжал мой товарищ и, не желая испытывать ощущений Леандра, плывущего к своей Геро, надел шубу мехом наверх.

— Боялись, ваше благородие, чтобы не сказали, что пропало что-нибудь с воза.

Вот вам и сказ!

17-го сентября, с. Шерешево.

Беловежа название свое получила от бывшей здесь когда-то белой башни (белой вежи). Достоверных сказаний о том, откуда пуца и селение Беловежа получили свои названия, нет. У Балинского в его известном сочинении “Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym”, мы встречаем только предположение, что тут

был охотничий деревянный замок королей польских, который по своим белым башням мог быть назван Беловежею, а от этого замка и вся лесная пуца, в которой он был построен, получила свое название.[19] Теперь в с. Беловеже есть церковь, сельское управление и недавно построенный охотничий домик государя. С. Беловежа стоит среди пуцы, на огромной поляне, окруженной со всех сторон лесом. Солнце, взошедшее после расчистившихся дождевых туч, уже готово было утонуть за темной синевою бора, когда мы въехали на двор беловежского сельского управления. Рассчитавшись с белостокским извозчиком и заказав себе две пары обывательских лошадей, самовар и яичницу, мы отправились осмотреть царский охотничий домик. Домик невелик; в нем всего около семи небольших комнат, в которых нет ничего достопримечательного. В первой комнате несколько охотничьих чучел, работы, как сказывают, хранителя виленского музея, очень хорошо отделанная кабанья голова; во второй комнате очень недурные деревянные медальоны с рельефными изображениями дичи; далее кабинет;

еще далее комната с ширмами из матовых стекол и комната, в которой сложено несколько подушек и байковых одеял. Пыли нет, все чисто и опрятно. Снаружи домик смотрит домиком, весело и уютно. На фронтоне постройки, соединяющейся с этим домиком и служащей (кажется) помещением для местного лесничего, укреплена голова зубра, сделанная в естественную величину; но я не мог узнать, из чего сделана эта голова: из бронзированного гипса или из металла. Около домика, который, впрочем, здесь называют дворцом, по склону холма разбит палисадник. По направлению этого склона к солнечному свету нужно полагать, что из палисадника можно было бы сделать вещь очень милую, но этого, разумеется, не сделано. Палисадник совершенно заброшен и шелестом растущего в нем бурьяна протестует на невнимание лиц, заведующих имуществом казны или короны. По дороге от беловежского зверинца до д. Беловежи видны местами кучи собранного валежника и сложенные полусаженьки прекрасных дров. Странно и жалко видеть толстые строевые деревья, порезанные

на дрова, и даже в этом виде гниющие у самой дороги, по недостатку сбыта лесного материала.

— Неужели по всему лесу валежник так же собран? — спросил я моего товарища.

— Ну, не думаю, — отвечал он.

— Где ж там! Борони Боже, — вмешался извозчик, — это вот только около дороги.

— А дрова?

— А так само и дрова.

— А в середине леса ничего?

— Да что ж там будет? Ничего.

Из с. Беловежи мы выехали поздно. Как начали собирать лошадей, так и собирали до одиннадцати часов ночи. Яичница никуда не годилась, и есть было нечего. Надпись, находящуюся на обелиске, поставленном в Белове-

же в воспоминание избиения зубров королем польским (кажется, Станиславом Августом) и его сотрудиниками, не мог списать, потому что было уже темно, а надпись, высеченная на сероватом камне, хотя и совершенно ясна и свежа, но в сумерки читать ее довольно трудно. От Беловежи к д. Кивачам (как называют ее здешние крестьяне), или Кивачина (как значится на плане Беловежской пуци), дорога идет лесом, необыкновенно густым и рослым.

Самая дорожная просека здесь гораздо уже, и есть места, где со всех сторон охватывает непроглядная, могильная тьма. Узкая, но длинная литовская фурманка, приспособленная здесь для возки жита и соли, идущих с юга, через Пинск, к Белостоку, очень удобна для езды одному, но вдвоем на ней сидеть невозможно; а мы, по неопытности своей, на одной фурманке отправили вещи, а сами уселись вдвоем на другую. Пришлось попеременно сидеть друг у друга в ногах. Взглянув вверх, на узенькой полоске неба я увидел звезды: в лесу было тихо и тепло, но звездный свет не доходил к нам, и небо мы видели, как

из глубокого колодца. В одном месте, с правой стороны, вдруг сквозь деревья показалась поляна.

— Что это? — спросил я извозчика. — Луг?

— Болото.

Действительно завиднелась кое-где вода, и слышался легкий шелест болотных трав.

— А велико это болото?

— Скрозь.

— Как скрозь? Разве и с левой стороны болото?

— Болото, — отвечает литвин бесстрастным голосом.

— И мы едем по болоту?

— По болоту.

— Что же это, гать, что ли?

— Гать.

— А по оба бока болото.

— Болото.

— Зубры тут ходят?

— Что им делать в болоте?

— А лоси?

— Лось любит болото.

— И не тонет он?

— Нет.

— А дик? (кабан — по-польски dzik).

— Дик везде.

— И к болотам ходит?

— Больше около дубу. Желуди жрет.

Что-то треснуло и зашумело в лесу.

— Зверь? — спрашиваю я извозчика.

— Зверь.

— А какой зверь?

— А кто его знает.

Нет, с этим не разговоришься. В Кивачи приехали ночью и остановились у избы “пана совестного”. Изба чистая, светлая, стены вверху выбелены, а в рост человека просто чисто выскоблены. Печка выбелена не мелом, а белой глиною. Побелка очень чистая. На загнетке горели кусочки смолистого корня. Свет довольно ярок, но красноват и беспрестанно мелькает. Березовая лучинка, как ее приготовляет мордва в Пензенской губернии, на мой взгляд, светит несравненно лучше. Впрочем, “пани совестная” объяснила мне,

что во время прядева или другой ручной работы изба этими же смолистыми кусками освещается иначе. Она взяла несколько щепок распиленного корня, зажгла их и положила в крошечный каминок, устроенный в угле печи: изба осветилась так, что можно было прясть и шить в нескольких шагах от каминка. Каминок особым узким рукавом соединяется с трубою выше вьюшки, и дым от горящих для освещения щепок уходит в трубу, не унося с собою теплого воздуха из избы. Пан и пани “совестные”, три девочки, которыми благословен их супружеский союз, и работница, довольно красивая девушка лет 18-ти, имеют вид здоровый. Глаза у детей чистые голубые, и ни малейшего признака колтуна или болезни век, которые так нередко встречается видеть у литвинов, живущих в курных избах. Пан “совестный” все хлопотал: послал за лошадьми и за пивом, которого мы просили купить у еврея, а пани “совестная” и ее работница сели против нас на лавочку. Я нарезал галяреты проснувшимся детям, из которых старшее имеет не более пяти лет, и они, с полуоткрытыми глазенками, начали

уплетать, чавкая ртом громче одной известной мне энергической украинской дамы. Пива на гривенник принесли такую массу, что мы сами выпили, попотчевали хозяев; я наполнил девочек, из которых одна, с белыми волосами и черными глазенками, выпила два стакана, и все-таки пива осталось. Пиво слабое, как русская брага, и на брагу похоже и вкусом, но пить его при жажде очень приятно. Работница у пана “совестного” живет “из милости”, т. е. из-за прокормления и одежды.

— Что же так дешево? — спросил я девушку.

— А так, бо у нас дешево, — отвечала она, грустно надпираясь рукой.

— Ты сирота, верно?

Девушка утвердительно кивнула головою.

— Ни отца, ни матери нет?

— Мать умерла, — так же грустно продол-

жала сирота.

— А отец?

— Отца не было, — отвечала она с полувеселюю, полуиронической улыбкою.

— Верно, мать солдатка была?

Девушка опять утвердительно кивнула головою.

— Что ж, тебя никто не сватает?

— Никто.

— Ты ж такая хорошая, красивая.

Девушка слегка зарумянилась, утерла рукавом нос и сказала: “Ну, дак что ж?”

— Чего ж на тебе не жениться?

Девушка молчала.

— А ты пошла бы замуж?

— Разумеется, пошла бы. Надоело уж чужие кутки-то (углы) обивать, — отвечала она, с постоянным выражением грустной иронии.

— Может быть, Бог даст, выйдешь, — сказал я, чтобы сказать что-нибудь.

— Может, найдется такой же до пары, да и поберутся, — промолвила “пани совестная” с чувством некоторого достоинства.

— А хозяйский сын будто уж и не может на сироте жениться?

— Чего не может! Только посаг (приданое) все ж таки какой-нибудь нужно.

— А Бог с ними, те хозяйские сыны! — резко сказала девушка, соскочила с лавки и стала поправлять горевшие лучинки.

— А бедному жениться, так и ночь коротка, — сказал я, вспомнив малороссийскую по-

Словицу.

— А так, пане, — серьезным тоном заметила хозяйка.

Девушка пристально стояла у огня, сложив руки на молодой, очень красиво очерченной складками белой рубашки груди, и ни слова не сказала. Только по тонким устам ее милого, свежего и немножко хитрого личика снова промелькнула ироническая улыбка.

“Пан совестный” вошел с пятью крестьянами, т. е. с двумя извозчиками, которые нас привезли из Беловежи, с двумя, которые должны везти из Кивачина до Шерешова, и десятником, наряжавшим подводы. Мы заплатили прогоны за дорогу от Беловежи и дали по золоту на водку. Мрачный и бесстрастный литвин, от которого нельзя было дорогою добиться слова, прояснел и стал рассказывать, как разложены наши вещи. Десятнику дали гривенник. Выходя из хаты, я дал двухгривенник на ленту Олесе, сироте, с которой беседовал, и не успел спрятать руки, как она

неожиданно ее поцеловала.

— Выходи замуж, — сказал я, прощаясь с нею.

— Спасибо пану на добром слове, — отвечала она.

—

По одному ехать на фурманке очень удобно: сидишь между колесами, не трясет, и не рискуешь беспрестанно выпасть. На эти фурманки здесь ставят по две бочки сала (Low), и еще напереди остается место погонщику; но они, как я уже сказал, очень узки. Мой новый возница, молодой парень лет 22-х, с длинными волосами и довольно приятным, хотя и бесцветным лицом, беспрестанно ежится в своей худой свитке.

— Холодно! — проговорил он, громко крикнув.

— А разве у тебя нет ничего потеплее?

— Есть.

— Чего же не надел?

— Так, не надел.

Прошла маленькая пауза.

— Волк! волк! — весело крикнул возница.

— Где ты его видишь?

— Вон! вон! — отвечал извозчик, указывая ручкой бича влево от леса, к которому приближалась наша дорога.

Я стал вглядываться и вскоре очень близко увидел темный силуэт волка и его сверкающие глаза. Зверь стоял смирно, повертывая только одну морду, а сам не шевелился.

— Ишь, гадина, как насмелился! И не трогается даже, — сказал извозчик. “Уло!” — крикнул он. “Уло!” — повторил он опять. Волк

стоял по-прежнему. “Видите, какая анафема! Не боится”.

Волк, действительно, как будто не обращал внимания на крик и стоял спокойно; только сверканье двух светящихся точек свидетельствовало, что он беспрестанно озирается на все стороны и не упускает из вида своего стратегического положения.

— А много тут волков?

— Пропасть.

— Лесные офицеры их стреляют?

— Стреляют, да все-таки их пропасть.

— А медведей?

— Теперь вот что-то не видать, а то были.

— Много, чай, скотины перепортили?

— Портили; ну, все волки проклятые боль-

ше портят.

— А зубров?

— С медведем зубру нипочем. Он ему враз (сейчас) отобьет смелость. Ему вот волки, так беда.

— Отчего ж волк хуже медведя?

— Медведь один идет на зубра — что ж он ему сделает? А волки проклятые стадом, так и облепят: тот за ляжки, тот за брюхо, все сзади, зубр их таскает, таскает, пока упадет; тут ему и смерть.

— И много они их так губят?

— Должно, немного, а таки губят.

— Кости выдаете иногда?

— Трафится (случается), часом видишь, ну, только редко.

— И медведь-таки последний, вот, что убили стрелки, задрал одного здоровенного зубра, — сказал извозчик, входя “в пессию”, как называют курские дамы неудержимое словоизвержение, которым они жестоко страдают, либо от тускарьской воды, либо от раков из Сейма.

— Почему же ты это знаешь?

— Видела вся наша осока.[20]

— Что же видела осока?

— Прежде еще мы видели этого медведя и все уж было приготовили, чтоб идти на него, а он и задрал зубра.

— Почему же вы думаете, что это он задрал?

— Видать по деревьям, как он залез на дерево и сидел там, караулил.

— Это вы догадываетесь?

— Видно, как лез вверх и как оттуда прямо на горб ему (т. е. зубру) так и прыгнул, так и засел. Деревья, сучья, все кругом от того дерева, где он сел, все поломано. Иные деревца-таки здоровые, толстые так и выхвачены. Это он лапой хватался, хотел сдержать зубра-то, а по иному по старому древу так по коре так когтищами и процарапал. Далеко, далеко он его катал, а тут уж, видно, умаялся, и косточки его и теперь так лежат.

— Большой был зубр?

— Двое между рог сядут, и еще просторно.

— А медведь?

— Не видал, как его убили. Лихорадка меня в это время трясла, а другие говорят, большущий зверь.

— А волки, видал, как гоняют зубров?

— Нет, сам не видал.

— Да ты зубра-то видал ли? — спрашиваю я шутя. Литвин рассмеялся.

— Что, видал?

— Да мы же осока! — отвечал он сквозь смех.

— Так часто видите?

— О, часто.

— И не боитесь их?

— Как старика встретишь, так прячешься.

— Чего же прятаться? Он ведь не бросается.

— Все лучше, как сховаешься (спрячешься) или на дерево взлезешь.

— Разве он когда бьет человека?

— Дядю моего, лет пять будет, крепко напугал.

— Расскажи, пожалуйста.

— Несет дядя домой плетушку, а дело к вечеру. Несет, а глух тоже был покойник: не слышал, как зверь-то подошел, а он подошел да как ткнет в плетушку, так и взвилась. Дядя упал — старый человек был, — упал и лежит; опомнился, поднял голову, а зубр его плетушку знай подкидывает, да как увидел, что дядя поднимается, опять к нему. Ни жив ни мертв дядя. Зубр подошел и ну его обнюхивать. Дядя так и ждет, что вот поднырнет рогами, да и на цментарж (на кладбище) закинет. Аж он, черт этакий, понюхал, понюхал, посопел, лизнул его раза с два, и да и опять к плетушке, ну ее опять метать.

— А дядя же?

— Помаленьку уполоз в куст, да со страха так старый и вскочил на сосну; целую ночь там просидел, пока наши ехали, так закричал

им. Совсем было помер со страха.

— А не вез он часом москаля со страха?

— Як кажете?

Малороссийской поговорки здесь не понимают.

— Не врал дядя? — спрашиваю я снова.

— Ого, врал! Не такой был человек, чтоб врать.

— Чего ж зубр плетушку-то кидал: сердился или играл?

— Потешался. Они ведь охотники забавляться. Иной раз возьмутся бороться — Боже мой! — только стон стоит, трещит все кругом. Заденут рога за рога, как только не сломят.

— А может быть и ломают?

— Нет, не ломают. Як бы ломать, то уж луч-

ше б он иной раз роги поломал, чем жизни решиться, и не ломает бидак.

— Не понимаю я, что ты говоришь.

— Эге! Не понимаете. Вот, как куска стоит.

— Какая куска?

— Куска, куска, что летом по лесу стоит... маленькая такая, тучами так и ходит.

— Комары, что ли?

— Эге, комары, комары. Ух, да и допекают же они зубров! Волк или медведь теперь еще может часом сделать что-нибудь тому, что “поедынче” (отдельно) ходит, а стаду нет, у них хоть их сколько соберись, не выкусят а ни клока. А куска как настанет, так так доймают их, что они иначе бешеные, аж стогнут, землю роют, выйдут на горку, да оттуда все так кувырком и летят. Сам я это раз видел, своими глазами; даже земля дрожит, право.

— Ну, а жизни-то как решаются они от куски?

— Да ходили наши двое один раз в соседскую деревню, да и заблудились. Вышли на какую-то поляну, Бог знает куда; и ночь уж, и месяц взошел; видят, дело плохо. А издали сразу как загудет, да как выскочит на поляну здоровенный зубр, прямо так лбом о корень и хватился, и ну его вертеть, и ну вертеть, и сам гудит. Это куска ему морду-то и осела, он-то с ней ничего и не поделает. Испужались наши хлопцы, да бежать; бежали, куда глаза глядят, так до самого утра проходили. А пошли мы после сено убирать; глядим, около сосны валяются кости зубра и рога, совсем со лбом промеж двух кореньев засунуты. Оглядели это наши хлопцы, так и узнали, что это та самая полянка, где они зубра видели. Как доняла его куска, рога-то он засадил меж корней, чтоб лбище свой почесать, да, видно, и не вытащил, а тут его волки, верно, и задушили.

— А может быть, и с голода издох, — доба-

вил крестьянин после небольшой паузы.

— Как же это он задел рога и вынуть не мог? Ведь они же у него к концу уже.

— Ну, или вширь как завязил, или не умел полегоньку вынуть, все рвал досадуючи, а коренья крепкие, догадки же нагнуться не было. Зверь, хоть дорогой, но все же глупый.

— Поймать его легко или нет?

— Пустое дело: сгородил станочек да положил сена, он и придет; запирай сзади да ве-ди. Так их и ловили, кому там их отсылали, не знаю, королю какому или генералу.

— Чего ж ему идти на сено, когда оно у него есть в лесу?

— Какое там сено?

— Вы же готовите, осокою, как ты говоришь?

— Это даровая работа! Пустое дело с этим сеном.

— Отчего?

— Первое, что его на всех зубров не наготовишь, а второе, что они его сразу все попсуют (попортят): нажрут, да давай копать его, да кататься на нем, спать разлягутся, все перемочат, перегадят под ногами, да так оно в снегу да в грязи и гноится. Шкода (жаль) работы только, — прибавил он, вздохнувши.

— А в скольких местах кладут сено по пуще?

— Бог их знает, только везде, все одно, сено это зубрам не в помощь. Сгубят сразу все сено и пошли целую зиму кору глотать; пока снег мал, еще осинки молодые скусывают, а там пухнут с голоду на одной коре. В эту-то пору они и к мужикам, на скирдники таскаются, только берегись: все в одну ночь слопают и в леса соседние разбредутся.

— И живут они в соседних лесах или назад идут?

— В Свислочской даче их пропасть живет и вот в нашем маленьком леску, а пара что-то года с два жила, да нет ее теперь. Либо волки загнали, либо в пущу опять вскочили. А то было какие смелые стали; скот наш деревенский пасется, они выйдут да смотрят.

— А ни с коровами, ни с быками не паровались?

— Нет. Наша скотина мелкая, а они какие ведь черти! Где с ними? Он нашу корову просто задушит. Вот у пана тут одного, так спаровали зубра с коровою, потому что крупная, хорошая, так этакая телка зародилась! Рослая, красивая, здоровая, на диво. Только к молоку, говорят, нехороша.[21]

— Нехороша, говоришь, к молоку?

— Да ведьма ее, говорят, испортила.[22]

— Вы все сочиняете.

— Нет, это верно. А вы, пане, смеетесь над ведьмами? Ой! Я пану на это не даю рады (совета). Лихие шельмы, Боже крый от них.

— И людей, стало, они портят?

— Нет, все больше коров да пчел.

— Ну, у меня ни коров, ни пчел нет. А у вас пчел много?

— Нет, мало стало, переводятся борти.

— Что так? Ведьмы, что ли?

— От, и лету им нет, отбиваются все.

Здесьние крестьяне верят, что пчелы состоят под особым покровительством невидимых сил. Этому же верят также и в срединной России. В Орловской, например, губернии верят, что есть пчелы, от Бога присланные, и есть загнанные сатаною, вследствие слова,

которое знает хозяин. Пчелы от роев, загнанных сатаною, всегда очень сильны и побивают других; но от них хозяин никогда не смеет дать части в церковь (кануну), и купцы “с крещеной душою” будто бы распознают мед от дьявольских пчел и не продают такого воска на церковные свечи, а свозят “в жидовские места” и на фабрики. Действительно, и из крестьян Кромского уезда я знаю пчеловодов, которые ни за что не дают своего меда на канун в церковь; но что им внушает сопротивление общему обычаю тамошних крестьян-пчеловодов, — не знаю.

— А леса вам дают? — любопытствовал я у крестьянина.

— Спросить нужно, так дают, по усмотрению.

— А сверх усмотрения?

— Нельзя. Разве пан не видел шлагбавы за нашей деревней?

Я вспомнил, что действительно мы проезжали шлагбаум; что долго звали живущего там стрелка и что нас пропустили, не осматривавши.

— Там смотрят, чтобы ничего не взяли из пущи.

— А мимо шлагбаума?

— Ну, это как кому хочется, — отвечал извозчик, повернувшись ко мне и оскалив зубы. — Да не стоит, — прибавил он, дернув вожжами.

“Разве что так!” — подумал я.

В шерешевское сельское управление приехали очень поздно. Писарь в чемарке встретил нас с заспанными глазами. Приемной комнаты нет. Я улегся на столе, а мой товарищ нашел это импровизированное ложе неудобным, сказав, что “на столе еще належишься”, принял половину капли Rhus в со- том делении и в полной униформе погрузил-

ся в насланное для него соломенное море.

18-го сентября, г. Пружаны.

Утро прошло презабавно. Проснулись мы от крика в еврейской школе, стоящей около сельского управления. Писарь, услышав наше неудовольствие, сказал по-польски: “Поганый народ эти жиды!” Спутник мой, ругающий жидов вразобь, вступился за избранное племя, когда его коснулись оптом, и начался спор. Доводы сыпались с той и с другой стороны; но победа, в моих глазах, клонилась на сторону моего товарища, несмотря на то что он затруднялся в выражениях на польском языке. Писарь убедился в том, что и он, и его сослуживцы, и все его приятели бьют баклуши, когда евреи работают.

— Это все так, вельможный пане, однако все же они подлые.

— Чем же подлые?

— До рук все дела забрали.

— Ну, вот, извольте с ними разговари-

вать! — возразил мой товарищ, обратившись ко мне.

— Что же! Это не я один, а весь свет знает, — отвечал писарь.

— Еще и целый свет! А вы... весь свет тоже знает, что вы лентяи.

Писарь глупо осклабился, однако не согласился, что евреи “не подлые”, и “не поганые”.

В шерешевском сельском управлении я встретил редкости, восстановившие меня некоторым образом против Сырокомли. Он, рассказывая о литовском Полесье, говорит, что

*Żaden nowy obyczaj, żaden wymysł
świeży,
Nie przemienił ich mowy, ni
kształtów odzieży;
Żaden nowy duch wieku nie przyłożył
ręki,
By zmienić bicie serca albo takt
piosenki.
Jak przed wieki nosiły Słowiańskie*

*narody,
Takie nosza sukmany, takie samy
brody,
Takie same sierierey, któremi dąb
wałą,
Takie same cerkiewki, w których
Boga chwala,
Tak samo ich posila miód, jadła i
ryba,
Nie tutaj nie przybyło — trochę nędzy
chyba.[23]*

Шерешевский писарь рассказывал мне историю крестьян, убивших зубра во время голодного года. Они были братья, голод терзал их семейства и угрожал им голодною смертию; начальство хлопотало о покупке хлеба, посылало за ним в Пинск и даже на Волынь; но пока что было, крестьяне решились ни отчаянные средства. Они начали бить зубров; двое, пойманные стрелками, во время самого убийства зверя, и наказаны.

— А теперь не бьют зубров? — спросил я.

— Нет, теперь не бьют.

— А шкуры зубровые откуда попадаютя?

— Уже о том не знаю.

В Пружаны меня повез очень веселый му-

жик с неприятно-сладоострастным, чувственным выражением лица. Я первый раз видел такое лицо в Литве.

— Видал ты зубров?

— Ой-ой! Еще сколько.

— А к вам они заходят?

— Отчего не заходят?

— И часто?

— Года с три уж не было, а то так заходили.

Тут один старик три года жил.

— Где ж он делся?

— Бог его знает.

— Может, убили.

— Может, и убили.

— А у вас много дичи?

— Стрелки бьют, а мы не ходим за этим.

— Отчего так?

— Так, и ружей нет, и часу нет.

— А стрелкам?

— Им что делать, как не таскаться?

— Что ж они бьют?

— Сарн, данелек, что попадетсЯ.

— Да это ж не позволено.

— Вот будут они глядеть!

Народа очень много едет все по одному на-

правлению. “Это от праздника”, — говорит извозчик.

— Какой же был праздник?

— Чахнохрист.

— Какой?

— Чахнохрист.

— Чахнохрист? — переспросил я, удивленный новым, неизвестным мне именем праздника.

— Чахнохрист, Чахнохрист зовется, пане.

Господи, что же это за праздник? Добивался, добивался, и узнаю, что это Воздвижение креста (14-го сентября).

Г. Пружаны замечательны во многих отношениях. Во-первых, там есть мостовая, которая лучше мостовой во многих губерниях России. Во-вторых, тем, что в нем обретаются красивые мужские и женские лица, которых не видишь почти с третьей станции от Петербурга. В-третьих, там есть нечто вроде табльдота и строится большой каменный костел, и против него уныло стоит ветхая православная церковь. И, наконец, тем, что приехать сюда очень легко, а выехать необыкновенно трудно. В Пружанах есть четыре почтовые ло-

шади, на которых отвозят почту в Кобрин, но проезжающим их не дают, и потому проезжающий на почтовых в Пружаны должен выбираться отсюда как ему угодно. Иногда уезжают на лошадях еврейских, а когда у евреев праздники или шабаши, тогда сидят у моря и ждут погоды.

Прелесть этого положения мы извели на себе. Приехав в Пружаны в десять часов утра, мы тотчас же послали за обывательскими лошадьми, которые должны были отвезти нас до Загребова, откуда начинается непрерывное почтовое сообщение с Пинском. Товарищ мой отправился к живущему в Пружанах маршалку, у которого он за год перед сим каплею аконита избавил от наглой (скоропостижной) смерти каретного коня, а я завернулся в свитку и залег спать в холодной комнате и на голодный желудок. Проснувшись в три часа, я сходил пообедать, осмотрел пружанскую церковь. Осведомлялся у дьячка о том, действительно ли праздник Воздвижения крестьяне называют чахнохристом? Оказалось, что это действительно так. В ожидании лошадей до десяти часов вечера разгова-

ривал я с хозяином. Здешние евреи все ждут железной дороги из Пинска в Белосток, которая, по их соображениям, будет иметь великое значение для литовского края. Они ожидают, что из Пинска и запинского края (Pinszczyzny) пойдут на Варшавскую железную дорогу хлеба из Волыни, свиньи, которых из Пинска забирают теперь и гонят в Царство Польское мазуры, и крымская соль, которую во всем здешнем крае предпочитают соли, доставляемой из Гродна. Теперь все это идет фурманами и потому, разумеется, идет не очень шибко, хотя крестьяне постоянно занимаются фурманством. Наш пружанский хозяин имел дела со строителями Варшавской железной дороги и вообще человек опытный в подрядах. Он не хочет верить, что можно выстроить железную дорогу не дороже 35000 руб. за версту, как надеются выстроить Литовскую железную дорогу до самого места соединения ее с Варшавскою железною дорогою, стоящею по 105000 руб. сер<ебром> верста. Он начал выкладывать цены ужасно высокие и не хотел верить, что когда-нибудь не нужно будет темных расходов. Разуверится

ли он?.. Не знаю, что еще больше записать о моем пребывании в Пружанах; разве то, что здесь я видел один образец литовского аристократического хлебосольства и имел случай искренно порадоваться от всего сердца, что я родился от племени, которое хотя и не ведет своего родословного дерева от римских гусей, но никогда не оставляло холодным и голодным ни прохожего, ни проезжего, не разбирая, какому Богу он верует. Я вспомнил солдатиков с польским выговором, которых радушно принимали в Пензе и Саратове, вспомнил многое, многое и поневоле пришел к заключению, которое заставило меня желать забыть имя пружанского аристократа, а потому и подробности происшествия, вызвавшего эту заметку, заносить не хочу.

18-го сентября, ст. Антополь.

“Chciałem począć od tego, że wyjechałem z Prużanów, ale kto z was, kochani czytelnicy, tak jest mocny w jeografii, żeby miał o Prużanach wiedzieć?”.[24] Известный польский литератор Крашевский в одном из своих многочисленных сочинений (“Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy”[25]) таким образом освободил

себя от описания своего выезда из Пружан; но я, при всем моем уважении к этому писателю, должен, напротив, записать, как выезжают из Пружан, где четыре лошади только отвозят почту, а для проезжающих, как я уже заметил, нет почтовых лошадей.

Во-первых, привели нам подводу, запряженную парой крохотных лошадей, муцев. Мы не решились пуститься на этих крысах и потребовали третью лошадь. Снова пошла потеха, окончившаяся, однако, тем, что часа через полтора привели высокого, худого и скрюченного росинанта и запрягли его на левую пристяжку. Уложили наши вещи. Мой чемоданчик поставили под наше сиденье, а окované железом сундук военного гомеопата — на передок, и на него воссел кучер, в котором сначала я не заметил никакой странности.

— На Запрудов! — сказали мы, усевшись.

Кучер тронул, и шагов тридцать проехали рысью.

— Пане Лукаш (Лука)! Пане Лукаш! — раздалось сзади нас, и послышался топот сапог и старческий сап.

— Ох, фу! — отдувался догонявший. — Пане Антоний!

Наш кучер издал какой-то полусвист-полужвук.

— От же ты этого коня бокового не тронь, бо он, — будь он неладен, — брыкается.

— Брыкается? — спросил мой спутник. — Зачем же вы дали такую лошадь?

— Ничего, ничего, пане! — успокоил нас догнавший старик. — Ты, пане Лукаш, только не трогай его; нехай (пускай) по воле бежит.

Снова поехали; но, сделавши шагов двадцать, возница наш пробрюзжал “тпрусь, тпрусь” и что-то зашамшил зубами, суетясь на сундуке.

— Что ты говоришь? — спросил его мой товарищ. Извозчик опят зашамшил, но ничего невозможно разобрать было.

— Обернись сюда и скажи.

Опять шамшанье.

— Да что у тебя во рту?

Извозчик старался выговорить что-то, но из всех его слов мы разобрали, что “мова (речь) в мене такая поганая”. — “Пане Антоний!” — закричал он внятнее, приподняв-

шись на сундуке.

Из темноты сзади послышался отклик.

— Что у тебя случилось? — спрашиваю я извозчики.

— Ничего, пане, ничего.

— Пане Лукаш! — раздается снова сзади.

— А!

— Это ты меня звал?

— А я же. Кто ж еще?

Подошел пан Антоний. Пан Лукаш что-то забормотал и задвигался во все стороны, а пан Антоний начал заглядывать под телегу.

— Да скажите же, Бога ради, что у вас такое?

— Ничего, пане, ничего. Фурманка трохи (немного) рассунулась.

Вот тебе и раз! Ночью ехать на рассыпавшейся телеге — приятно!

— Вороти назад.

— Ничего, пане, ничего. Будьте покойны. Нужно только вот этот сундук снять с передка.

Сняли сундук, поставили его под себя и поехали на авось.

— Пане Антоний! — опять закричал пан

Лукаш. Пан Антоний подбежал снова.

— Зануздай ну пристяжных.

Пан Антоний повертелся у лошадиных голов, и мы, слава Богу, выехали за пределы г. Пружан.

— Проклятая эта фурманка, — сказал мой товарищ, — совсем сидеть нельзя.

— Да, сидеть скверно, — отвечал я, поглядывая на сундук, по железной крышке которого мы так и скользили из стороны в сторону. — И зачем вы возите вещи в сундуке? Где видано ездить с сундуками на телегах?

— Что ж, когда чемоданы моей езды не выдерживают.

— Купите хороший, так выдержит.

— Уж покупал; так и летят вдребезги.

— Закажите Вальтеру.

— Не выдержит никакой.

Сопутник мой, значит, взлез на своего конька. Не сомневаясь, что его нельзя разуверить в том, что ездить по-людски, с чемоданом, а не с гробом, окованным сверху железным листом, гораздо удобнее, я только слегка заметил, что если и действительно он находится в положении богатыря, который никак

не мог найти меча по своей длани, то лучше же пусть рассыпаются чемоданы, чем кости людей, трясущихся на его сундуке.

— Ничего, на нем ямщики всегда сидят и не жалуются. Только в морозы, как настынет крыша, так недовольны.

— Я думаю, будешь недоволен, принимая дорогою холодную ванну.

— Не долго же каждому приходится.

— Примерзать-то?

— Ну, уж и примерзать! А, впрочем, на нем сидеть ловко.

— Ну, этого я, по теперешним моим ощущениям, не скажу. А как вот наш пан Лукаш взъедет на косогор, то и покатимся мы с вами долой с фурманки.

— Я уж один раз упал.

— Ну, вот видите! — заметил я.

— Да еще как! Был у одного из служащих у нас французов. Переночевал. Утром подают фурманку, француз с женою вышли на крыльцо, напутствуют меня парижскими любезностями, а я, “с ловкостью почти военного человека”, прыгнул в фурманку. Сел и только что крикнул “пошел!”, как вдруг чувствую,

что фурманка из-под меня выскочила. Со-знаю, что в какое-то короткое мгновение я ви-дел свои собственные ноги торчащими вверх каблуками, что у меня болит затылок и что я лежу на дороге.

Приводя себе на память довольно почтен-ную фигуру моего товарища, его гомеопатиче-ские чувства, его коротенькие ножки и пол-ные ручки, я не мог удержаться и расхохотал-ся.

— А тут, — продолжал рассказчик, — и больно-то! И неприятно так упасть в глазах подчиненных! Экая, думаю, досада! Смотрю, француз с женой и все провожавшие меня люди стоят надо мной, высказывают сожаления, а сами, вижу, как не лопнут со смеха. Поднялся я и скорей уехал.

— Ну, вот видите, что делает ваш сундук!

— Да разве я с сундука упал?

— А с чего же?

— С куля. Куль рогожный набили соломой, чтоб было покойнее сидеть, да набили-то по усердию туго, как валик. Как только лошади дернули, куль покачнулся, я и полетел через задок фурманки.

— Пане! — прошамшил извозчик.

— Что тебе?

— Куда ехать-то: на Свадбичи или на Запрудов?

— На Запрудов, на Запрудов. Зачем нам ехать на Свадбичи?

— А так, пане; зачем же вам на Свадбичи?

— А ты дорогу-то хорошо ли знаешь?

— Ого! Я тут взрос. Я того и спрашиваю панов, что сейчас будет разъезд на Свадбичи и на Запрудов.

— На Запрудов, на Запрудов. А какая отличная станция Свадбичи! Можно спросить кушанья, все свежее, и сейчас изготовят, — сказал мой товарищ.

— А в Запрудове?

— Там ничего нет.

— Ну, и Бог с ним, лишь бы скорей доехать да пересидеть в тепле катар.

— Да вы принимайте аконит.

— Я принимаю.

Мне начало дрематься, и, несмотря на неловкое сиденье, я чувствовал, что глаза у меня слипаются. Спать, однако, оказалось невозможным, и я только довольствовался

молчанием.

— Погоняй, — говорил мой спутник.

— Не можно, пане!

— Отчего не можно?

— Поносят кони.

— Что ты плетешь?

— Ей же ей, поносят. Вот ей, конек только первый раз запряжен.

— Который?

— Что в оглоблях.

— Что ж это вы, с ума сошли, жеребенка запрягать в корень?

— Ничего, пане!

— Погоняй хоть большую-то.

— А чтоб она пропала! Доедем и так, пане!

— За что ж только пара везет?

— А то побьют, пане! — и извозчик хлынул бичом по правой лошаденке.

— На Запрудово ли ты едешь?

— О, на Запрудово.

Фурманка сильно покачнулась, и мы едва-едва удержались.

— Дорогу, сдается, чи не потеряли мы, — сказал своей мовой извозчик.

— Ах ты, Боже мой! Ну, ступай, ищи.

Извозчик походил с четверть часа и, вернувшись, зашамотил весело: “Нет, это та самая дорога”. — “Пужку[26] сгубил”, — пробормотал он, немного повременив, смотря на конец бичевого кнутовища.

— Что ты за чудак такой? — спросил его мой товарищ.

— Я старый.

— Как старый?

— А еще, как француз подходил, то было мне 25 годов.

— Чего ж тебя посадили?

— А кому ж ехать, пане?

— Кто помоложе.

— Нет в дворе младших.

— Сыновей разве нет?

— Поумирали, один только остался, да молодой еще, тройкой не справит.

— Как молодой?

— Восемнадцать годков.

— Так тебе под шестьдесят лет было, как он родился?

— А было, пане!

— Молодец!

Старик захихикал и закашлялся. Впереди

по дороге завиднелся огонек. Лошади бежали, но, поравнявшись с огнем, вдруг бросились в сторону и опять чуть не опрокинули фурманку.

— Ой! Бьют, ой, бьют, панове, — забормотал старик, прядя веревочными вожжами; лошади остановились, но топтались на месте и ни за что не хотели идти вперед. Нечего было делать! Я слез, взял коренного жеребенка за повод и провел его мимо огня.

— Да он у тебя не зануздан! — сказал я, видя, что уздечка взлезла лошади на верх головы и вожжи приходятся почти у самых ушей.

— А не занузdana.

— Зачем же так, если он еще в первый раз запряжен?

— Пристяжная занузdana, пане!

Что прикажете толковать! Я потянул вожжу и, сделав из нее петельку, заложил в рот жеребенку, вместо удила.

Поехали. Попутчик мой начал опять разговор с паном Лукашом, заставляя его по несколько раз повторять одно и то же слово, пока можно было что-нибудь разобрать.

— Ты помнишь француза-то?

— Помню, — отвечал старик, — кобылу у меня загнал проклятый.

— Как же он загнал?

— Побрал нас тут с фурманками, наклал всякой всячины и погнал, а корма не было, кобыла моя и издохла. Отличная была лошадь, гнедая, здоровая, чтоб ему пропасть за нее. Однако 25 рублей дал.

— А лошадь разве больше стоила?

— По-тогдашнему не стоила, а по-теперешнему она дорого стоила бы.

— Да ведь он тебе платил по-тогдашнему, а не теперешнему?

— Это так. Войско ничего было, доброе войско было, — прибавил он, подумав.

— Не обижали вас?

— Нет, в дороге всем делились, ну, а как нечего есть, так уж все и не едим.

— А вы чего же не прятались, как подошли войска?

— Куда спрячешься-то? В лесу с голоду умрешь. Лучше уж было идти.

— А польские войска вас не тревожили, как была война?

— Нет, только рекрутов взяли.

— Тоже добрые были войска?

— Ничего. Рекрутов я тогда тоже возил, так насмотрелся на них. О, Боже мой, страсть была какая!

— В войсках-то?

— Нет, как рекрутов везли.

— Какая же тут страсть была?

— А кони вот тоже, как теперь, сборные, один туды, другой сюды лезет; справа[27] поганая, вся на матузках (обрывочках), а дорога тяжкая. Боже ж мой, что было только! Кони вертают все до дому, матузки раз в раз рвутся да рвутся, а рекруты утекают... Такое было, что и сто лет человек проживет, не увидит.

— Ну, а за польское панованье лучше было?

— Бог знает, как сказать. Гвалтовной работой они нас в Пружанах донимали, а то ничего.

— Заработки были?

— Были, да гроши были часом такие, что на вес их только сдавали, и французские тоже на вес.

— Ну, а теперешние карточки как у вас ходят?

— Жидовские-то?

— Да.

— Поганые это гроши.

— А гвалтом докуда вы работали?

— Аж до самой царицы Катерины.

— Ведь вы же мещане; за что ж вы работали?

— От поди ж, работали, да и только. А если, бывало, не пойдешь, то и — и, такого гармидора (шуму) нароблят!.. Все ходили гвалтом.
[28]

Издали забелелась прямая полоса Брестливовского шоссе. Лошади бежали ровною рысцою, левая пристяжная по-прежнему ничего не везла, и старик спокойно смотрел, как валек от опущенных постромок стучал лошадь по коленкам. Но только что коренной жеребенок ступил на шоссированную дорогу, опять метнул в сторону и затоптал, отхватывая от камня свои неподкованные ноги. Старик зашамотал губами и, соскочив с козел, повел жеребенка под уздцы.

— Садись же, — сказал ему мой попутчик, видя, что он ведет и ведет лошадь.

— Нет, я лучше буду его вести, пане!

— Что ты говоришь! Когда же мы так поедем?

— Тут недалеко, пане, до Запруд.

— Как недалеко?

— Верст с пять осталось.

Я пересел на передок, взял вожжи и крикнул старику: “садись”. Он, кажется, очень обрадовался и, усевшись на моем месте, начал рассказывать, как трудно ездить на этих проклятых сборных конях. Кони, однако, бежали прекрасно, даже росинант натянул постромки и не протестовал против нескольких щелчков вожжею, из чего я и заключаю, что пан Антоний надул трусливого пана Лукаша, представив ему свою клячу опасным вольнодумцем.

Наконец завиднелась станция.

— Это и есть Запрудово?

— Запрудово, пане!

Когда я слезал с фурманки, извозчик отчаянно махнул руками и сказал: “О, Боже мой! Боже мой! Я поеду один на сих конях? Пропал я теперь с ними!”

И жаль старика, и смех неудержимый берет, глядя на его трусость. Станция очень хо-

рошая и очень большая. Отставной солдат предложил нам кушать. Повар со всеми финесами рассказал, как он может нам сейчас изготовить пару цыплят (kurczat), а я повалился на диван и начал дремать. Сквозь сон слышу шум, в котором отличаю русские слова моего товарища, непонятную мову (речь) нашего извозчика и варшавское наречие станционного смотрителя. Наконец шум в соседней комнате затих, дверь отворилась и является мой товарищ.

— Прошу покорно радоваться! — говорит он, обращаясь ко мне с обиженным видом.

— Что такое? — спросил я, ничего не понимая.

— Знаете, где мы?

— В Запрудах.

— Нет-с, в Свадбичах.

Я расхохотался.

— Семнадцать верст назад отвез старый шут, — говорил мой товарищ, все более обижаясь.

— Давайте хоть посмотрим на него за это.

Велели позвать старика, чтобы дать ему на водку; но солдат возвратился, объявив, что

пан Лукаш сложил наши вещи и ускакал.

Цыплят подали разогретых, ветчина гадкая с желтым жиром и сухая. Попутчик мой потребовал уксусу.

— Нету, пане, у нас.

— Как можно, чтобы при буфете не было оцта! — сказал он по-польски.

— А! Это оцта пан спрашивает. Оцет есть.

Дали уксуса.

— Нет ли чем почистить в зубах? — опять спросил мой чистоплотный попутчик.

— Есть, пане! — Повар побежал и возвратился с гусиным пером, на конце которого нашлись чернила.

Я опять рассмеялся, а попутчик мой окончательно обиделся, и мы поехали в Запруды.

Из Запрудов до Антополя, заплатив двойные прогоны, мы поехали проселками. Приехав в Антополь, я ужасно проголодался.

— Есть что-нибудь съесть? — спросил я у писаря, вышедшего в чемарке с кутасами (кистями).

— Ничего нет.

— Отчего же вы не держите?

— Не держим.

Из-за двери выглянула еврейская физиономия и спряталась; потом опять выглянула, потом опять спряталась, и наконец через порог переступил тонкий, длинный еврей.

— Може паны что-нибудь скушали бы? — спросил он, подобострастно улыбаясь.

— А что ты дашь нам?

— Могу дать курицу жареную; могу дать рыбу вареную, могу дать яйца всмятку.

— Давай курицу, рыбу и яйца всмятку, — радостно воскликнул я, как Осип в доме Сквозника-Дмухановского, где были щи, каша и пироги. Поели прекрасно и за все заплатили 80 копеек.

— Отчего бы пану не держать кушанья? — заметил я писарю.

— Не стоит, — отвечал он, сделав косую мину и поправив широкий лакированный пояс.

— А вот евреи так не думают!

— Это уж их дело.

— Вы, кажется, не любите евреев?

— Кто их любит! Подлый народ.

— Эт! О них и говорить не стоит.

— А если б вот не евреи, так пришлось бы

голодать, глядя на ваш пояс.

Пан писарь обиделся и ничего не ответил.

Вечером приехали в Яновку. Пред въездом в Яновку нас остановили несколько крестьян. Посмотрели в фурманку и отошли прочь к горящему костру, сказавши ямщику: “Поезжай с Богом”.

— Чего они смотрели? — спросил я ямщика.

— Сена.

— Зачем же они смотрели сена? Что им за дело до сена?

— Быдло (рогатый скот) в Дрогичине падает, так чтобы хворобы (болести) оттуда не завезли с сеном.

А проезжая Дрогичино, я видел, как коровы тянули из лужаек грязную болотную воду, и только удивлялся, как такое пойло не произведет громадного падежа. В Яновке мы совсем осмеркли. В ожидании самовара я сидел на крыльце и, смотря на все меня окружающее, вспомнил сумерки в роскошных надднепровских хуторах; вспомнил теплый пейзаж, которым родная семья часто любовалась с крылечка панинской мазанки, глядя на Дол-

гий лесок, на зеркальную поверхность пруда, на деревушку вверху Гостомли, скромной реки, не значащейся ни на одной географической карте. Тут пели, читали, вспоминали, пили “по чарци”, “щоб усим легенько згадалось”, а кругом зелень только синеет; желтый лист порою перекатится через дворик, но в воздухе еще тепло; из-за горки несется молодецкая песня, то давящая, то безумно веселая; из деревни слышится многоголосый собачий лай, и около колен вертится пятилетняя девочка с голубыми глазенками и умным личиком.

— Не уезжай, мой голубчик, не уезжай, мой милый, — говорит она, — я хочу, чтобы ты был со мною.

В Яновке нет ничего этого. Гладкая равнина, идущая от самого Белостока, очень приятна для соображений строителей Литовской железной дороги; но для глаза я не знаю ничего утомительнее и печальнее. Это не саратовская степь с густым колосом; не новороссийская степь с травой, в которой баран спрячется; это даже не жаркие Рынь-Пески, не киргизское раздолье, — а это холодная, белая

неблагодарная почва, над которой человек без отдыха и покоя льет свой кровавый пот, нередко для того, чтобы собрать тощие колося руками, как берут в России лен или замашни. Не то что дико и угрюмо, а как-то печально, безотрадно, холодно и серо. Бледные люди, женщины с изнеможенными лицами и присохшими грудями, мужчины с длинными космами редко расчесанных волос, колтуны, какая-то запуганность, задавленность в глазах и серое небо над серой землей. Скорей бы в Пинск на роздых, авось выздоровею и отведу на чем-нибудь глаза, не выдавшие, с самых Кивачей, ни одного благообразного облика.

18-го сентября, Пинск.

Из новейших писателей о Пинске и о здешнем крае подробнее многих писал польский литератор Крашевский. Его сочинение “Wspomnienia Polesia, Wołunia i Litwy” (“Воспоминания о Полесье, Волыни и Литве”), изданное в Париже два года назад, без хронологической даты, известно всем, знакомым с литературой западных славян.[29] Оно не составляет чисто научного исследования, даже в нем очень немного сведений археологиче-

ских, исторических и статистических, но оно очень верно знакомит с характером края и, по легкости своего изложения, не утомляет капризного внимания славянского племени, приученного литературою последних лет только ко всему такому легонькому. Впрочем, описания в роде “Wspomnień” Крашевского, по моему крайнему разумению, в данный момент исторического развития общества часто могут служить интересам края гораздо прямее, чем, например, многие изыскания, чтение которых превосходит меру обыкновенного человеческого терпения. Я о Пинске вообще думал не чаще большинства моих милых соотечественников, и значение этого города, и характер его населения мне были знакомы весьма поверхностно. Поэтому понятно, что прежде чем выйти из дома Фрейма Гринберга, в котором мои кости отдохнули на довольно чистой постели, я развернул “Wspomnienia” Крашевского. Вступление мое в пределы, подведомственные пинскому городничему, несколько разнится со вступлением в эти же пределы г. Крашевского. Он въезжал в Пинск со шляхтичем, и зато его у

городского столба остановил еврей с железным щупом, ткал им в повозку и попортил чемоданы, отыскивая водки, которую, по замечанию г. Крашевского, сюда можно ввезти только в желудке; а я въехал с почтовым ямщиком, и за то меня не обыскал еврей. Но, как я все-таки видел сквозь мрак ночной фигуру еврея со щупом, то и не сомневаюсь, что сын израилев носит этот инструмент не для чего иного, как для употребления, описанного на 92 странице 2-го издания “Wspomnień” Крашевского.

Теперь Пинск уездный город Минской губернии, в которой полагается местонахождение известной сморгонской академии медвежьих наук. Мирное население нынешнего Пинска состоит из христиан и евреев. Христиане исповедуют римско-католическую веру, но есть и православные, а говорят все, без исключения, на польском языке. Евреи разделяются на обыкновенных, т. е. талмудистов, или, как они себя называют, “старозаконных”, и хасидов, они же китаевцы и скакуны. Г. Крашевский называет этот раскол сектою хасидов, китаевцев или каролинцев, произво-

дя последнее из трех названий от Каролина, бывшего предместья Пинска, теперь совершенно с ним соединенного и составляющего часть его полицейского разделения. В настоящее время, как я сегодня узнал, схизматствующие сыны Израиля утратили название каролинцев и зовутся обыкновенно китаевцами или еще чаще скакунами. Откуда произошло название китаевцев, мне никто не объяснил, а их раввин, к которому я хотел обратиться, выехал из Пинска и живет теперь в м. Столине, что на р. Горыне. Скакунами же они прозваны за обычай прыгать, “скакать”, во время совершения общественной молитвы, и в целом крае у простолюдинов они известны, собственно, только под этим названием. Каролин и Пинск теперь благоденствуют под опекою общего покровителя г. городничего и только делятся на две партии по отношению к двум частным приставам. Имея в виду, что уездный город Пинск не только имеет городничего, без которого не бывает города, но даже частных приставов, да еще не одного, а двух, я уж не хочу говорить, что Пинск нисколько не напоминает ни Кром, ни Малоархан-

гельска, ни Борзны, ни Черни, ни (спаси Господи!) Городищ, устроенных собственно для выдачи пензенским винокурам свидетельств на не существующую на самом деле запасную медь, ради получения под нее денег. Но не похож Пинск ни на Елец, ни на Рыбинск, ни на Серпухов, ни на Бердичев, где непривычный человек, подвергшись еврейской услужливости, в полдня делается готовым субъектом для любого дома умалишенных. Он именно “сам по себе”. Не спеша утверждать, как велико право Пинска именоваться литовским Ливерпулем, как иные его называют, можно сказать, что он несомненно один из важнейших пунктов литовского края. Значение его велико в настоящее время и способно быстро возвыситься, если для Пинска сделается что-нибудь вдобавок к тому, что он делает сам, стоя на немногочисленной реке и не соединяясь искусственными путями ни с одним из голодных мест Литвы, требующих хлеба, соли и мяса. Мне кажется, что Пинск скорее литовская Москва, чем Ливерпуль. Его географическое положение, по отношению к путям сообщения, имеет некоторую солидарность с Моск-

вою, и фабричная его производительность и промышленность его окрестностей не напминают Ливерпуля. До Пинска снизу водные сообщения весьма удовлетворительны; подвоз сюда хлеба из плодородных местностей днепровского бассейна очень удобен, и потому здесь существуют такие цены на хлеб, что, при всей дороговизне доставки его в Гродно, он шел туда в голодные годы. Соль же, шерсть и прочие украинские продукты и теперь постоянно везутся отсюда по направлению к Белостоку и за Белосток по Гродненской губернии. Водяные пути за Пинск уже гораздо затруднительнее. Их два: один идет в Балтийское море, к Данцигу, а другой, тоже в Балтийское море, через Вислу. Для перевозки хлеба каналами Огинским и Королевским его в Пинске перегружают с днепровских берлинок на мелкоходные суда и плоты. Идучи на плотях, хлеб мокнет, прорастает и портится. Приходя в заграничные порты в кулях, покрытых “зелеными изумрудами русских полей”, он подвергается невыгодному бракованию, ибо иностранцы, не читая некоторых статей г. Асакова, не понимают, что наши “зеленые

изумруды полей” надежнее чисто отвеянного зерна. А как трудно допустить, чтобы европейцы, которым мы продаем свой хлеб, вошли во вкус г. Асакова, то нужно, чтобы хлеб наш приходил не в том виде, в каком он приходит к ним на плотях, отправляющихся из Пинска в Данциг, где самый строевой лес, связанный в плоты, составляет предмет торговли пинских купцов. Но, сверх забот о заграничной торговле через Неман и Вислу, должно же подумать и о внутренней торговле, о распределении богатств плодородных местностей нашей земли по всему лицу государства. Видеть местности, изобилующие хлебом, в положении выгодном для сбыта, а местности, требующие привозного хлеба, — в положении выгодном для приобретения его, в свое время, сходною ценою, — задача более важная, чем усиление заграничного торга. Нужно оживить голодные деревни и города Гродненской, Ковенской и Виленской губерний, облегчив им покупку нужного количества украинского и волынского хлеба в годы урожайные, а наипаче в неурожайные, когда самое правительственное вмешательство бы-

ло бессильно вывести из апатии население этих стран, несмотря на то что оно не оставалось перед громадными издержками на перевозку хлеба из Пинска к Гродну. Только путем довольства, вводимого в северную часть литовских губерний, население этих стран выйдет из той страшной вялости, печать которой оно носит на себе теперь от изнурительной и бесплодной борьбы с своею сурою почвою, а этого нельзя достигнуть без хороших искусственных путей сообщения. Железная дорога из Пинска в Белосток есть именно такой путь. Соединясь в Белостоке с линиею Варшавской железной дороги, она развезет по голодной Литве все, что теперь с трудом сбывается в Данциг и другие иностранные порты. Довольство разовьет предприимчивость, и апатичный край, почувствовав сытый желудок, зашевелит своими мозгами и охотнее положит свои намотанные руки на плуг и топор, получа эти орудия не из рук, отковавших их по лекалу, существующему со времен Миндога или Витовта. Дайте ему связаться железными полосами с днепровским бассейном, и правительство уже

никогда не найдет себя вынужденным обращаться к тем затруднительным мерам, перед которыми оно не останавливалось в особенно голодные годы, возя на лошадях хлеб из Пинска для голодавших жителей Гродненской губернии. Рельсы, положенные от Пинска к Белостоку, будут иметь огромное значение и для верхнелитовского края, и для украинской отпускной торговли, и для Варшавской железной дороги, проходящей по самой бесплодной полосе империи и потому не получающей тяжелой клади, и, наконец, для высших соображений правительства, которое с нею успокоится от опасений голода, ежегодно почти угрожающего всему литовскому краю к северозападу от Пинска.

Но возвращаюсь к Пинску, каким он мне представился сегодня с различных точек зрения, на которые меня ставили здешний старожил К. Киневич и купец Меер Мовша Левен. Прежде всего г. Киневич познакомил меня со следами исторических памятников бывшего Пинска. Мы были сегодня в очень многих местах. Сначала зашли в православный девичий монастырь. Церковь и жилые зда-

ния этого монастыря принадлежали католическим монахам ордена бернардинов.

Отобранный от бернардинов монастырь долго оставался пустым и служил складом для хлебных запасов; потом, когда деревянный монастырь, отобранный от сестер базилианок, пришел в ветхость, жившие в нем православные монахини переведены в бывший бернардинский монастырь, который с тех пор стал называться Пинским Варваринским девичьим монастырем. В ограде этого монастыря помещается довольно красивая церковь в западном стиле, большой каменный корпус, в котором отделана только одна небольшая часть и большой деревянный флигель. Я шел в монастырь для того, чтобы видеть камень с санскритскими надписями, вырытый, будто бы, еще при постройке не существующего теперь деревянного монастыря сестер базилианок, и фрески, оставшиеся на стенах храма бр<атьев> бернардинов. Не найдя камня около церкви, где он лежал, по словам моего путешественника, мы пошли к игуменье. Маленькая девочка, сидевшая в передней за какою-то книжечкою, спросила, что нам нужно,

и побежала. Я посмотрел книжечку, оставленную девочкою: это был польский “Elementarzyk”. [30] В углу на столике лежало еще пять таких же истрепанных и испачканных elementarzyków, по которым в здешнем крае учат грамоте. Через полчаса нас попросили в залу. Очень добродушная игуменья взяла ключ и сама вызвалась показать нам свой монастырь. Сначала мы зашли в теплую церковь, помещающуюся над кельею игуменьи, в здании, которое перешло от бернардинов неотстроенным и до сих пор не отстроено. Церковь бедна так, что и передать трудно. Все мелко, безвкусно, слеплено на живую руку и до крайности мизерно.

Постояв тут, я сказал игуменье:

— Позвольте, матушка, пройти в вашу большую церковь.

— Пойдемте, пойдемте.

— Позвольте просить вас указать нам также камень.

— Какой камень?

— С надписями, что лежал в старом кляшторе (монастыре) сестер базилянок, — пояснил мой чичероне.

— А! Помню, помню; только его теперь нет здесь.

— Где же он?

— Мещанин тут есть Ходорович, так он его взял: на могилки своим положил.

— Хотелось бы его видеть.

— Ничего нельзя было вычитать.

— А сколько у вас теперь сестер?

— Три.

— Только-то?

— Только.

— А послушницы есть?

— Четыре.

— Какие же средства имеет монастырь?

— Землю имеем, дом, что при старом кляшторе нанимаем (т. е. отдаем внаймы); тут также вот деревянный домик сдаем; да из казны 1400 рублей в год получаем.

— Доход же есть еще церковный?

— Нет.

— Будто никакого?

— Никакого.

В большой церкви стояли три молодые девочки, покрытые черными шерстяными платочками, и одна из них что-то читала пискля-

ВЫМ ГОЛОСОМ.

— Что она читает, матушка?

— Часы-с.

— Стало быть, скоро начнется обедня? — спросил я, удивленный поздним чтением часов.

— Нет, у нас только часы читают.

— А обедни не бывает?

— Только по праздникам.

Фрески сохранились только справа, над окном, да в алтаре над горним местом. Последняя картина аль фреско, изображающая архангела Михаила, поразившего дьявола, очень хорошо сохранилась. Остальное все густо забелено мелом.

— Зачем вы, матушка, забелили стенопись? — спросил я игуменью, выйдя из алтаря.

— Да как было не забелить? Все было стерто, поцарапано, безобразно уж было.

— Отчего же она так попортилась?

— Провиант тут жидаы насыпали; ну, сырость от него шла, пыль, лопатами царапали.

— Так очень уж были попорчены картины?

— Совсем попорчены, нельзя было не забелить.

После девичьего монастыря я видел старый монастырь францисканов. Теперь монастырский храм обращен в приходскую церковь, а в кельях католическим духовенством помещены разные бедные люди, которые не в силах нанять для себя помещения в городе. Из братьев францисканов здесь живут только два старичка, которые по дряхлости и болезни не могли отсюда выехать. Кляштор[31] подчинен канонику Мошинскому, благодаря просвещенному вниманию которого я видел очень древние, но прекрасно сохранные документы с королевскими печатями. Вот список этих документов.

Реестр подлинных грамот и привилегий, служивших монастырю пинских ксендзов францисканов, в 1793 г., и переданных комиссии.

1) 1396 год. Грамота на пергаменте, с печатью, висящею на шнуре, данная Пинскому францисканскому монастырю первым основателем — Сигизмундом Пинским, князем Стародубовским и Юровским.

2) 1445 год. Привилегия от великого князя Казимира — письмо на пергаменте, с печатью, висящею на шнуре, данное Пинскому францисканскому монастырю.

3) 1504 год. Привилегия на пергаменте, с печатью, висящею на шнуре, данная королем Александром.

4) 1510 г. Конфирмационная привилегия короля Сигизмунда на пергаменте, с печатью, висящею на шнуре.

5) 1510 г. Привилегия на пергаменте князя Феодора Иоанновича Ярославовича.

6) 1511 г. Привилегия на пергаменте князя Феодора Иоанновича Ярославовича.

7) 1522 г., ноябрь месяц. Привилегия королевы Боны, на пергаменте, конфирмирующая все упомянутые привилегии.

8) 1524 г., 14-го апреля. Привилегия на луга и сенокосы, данная Пинскому францисканскому монастырю князем Феодором Иоанновичем Ярославовичем и его супругою.

9) 1526 г., 17-го июня. Грамота того же князя Феодора Иоанновича, на остров.

10) 1528 г., 24-го августа. Привилегия на пергаменте того же князя Феодора Иоаннови-

ча, на сенокос Глубин, данная ксендзам францисканам.

11) 1529 г., 16-го января. Привилегия королевы Боны на кладбище, данная пинским францисканам.

12) 1556 г., 22-го января. Конфирмационная привилегия на пергаменте, с висящею печатью, данная королевою Боною.

13) 1615 г., 23-го марта. Конфирмационная привилегия на пергаменте, с висящею печатью, данная королем Сигизмундом.

14) 1616 г., 28-го февраля. Конфирмационная привилегия того же короля Сигизмунда III на пергаменте, с висящею печатью.

15) 1633 г., 22-го февраля. Конфирмационная привилегия на пергаменте, с висящею печатью, данная королем Владиславом IV.

16) 1639 г., 15-го марта. Конфирмационная привилегия того же короля Владислава IV, на пергаменте, с печатью.

17) 1649 г., 26-го января. Конфирмационная привилегия на пергаменте, с висящею печатью, данная королем Яном Казимиром.

18) 1654 г., 18-го апреля. Привилегия того же короля на землю Сварыцевичон, данная

на бумаге, с вытиснутою печатью.

19) 1669 г., 25-го октября. Конфирмационная привилегия на пергаменте, с висящею печатью, данная королем Михаилом.

20) 1688 г., 15-го февраля. Конфирмационная привилегия на пергаменте, с висящею печатью.

21) 1696 г., 29-го декабря. Конфирмационная привилегия на пергаменте, с висящею печатью, данная королем Августом.

22) 1721 г., 14-го мая. Извлечение из трибунальских книг об утвержденной уступке земли пинским францисканам.

23) 1729 г., 6-го сентября. Конфирмационная привилегия на пергаменте с висящею печатью того же короля Августа II.

24) 1740 г., 20-го ноября. Конфирмационная привилегия на пергаменте с висящею печатью, данная королем Августом III.

Самая церковь упраздненного францисканского монастыря очень красива снаружи и имеет много достопримечательных вещей внутри. В числе этих вещей есть масляный портрет ненавидимой в Литве и Польше королевы Боны и ее слабого мужа Сигизмунда I,

портреты первых фундаторов (основателей) кляштора и картина, изображающая монаха, совершающего крещение над человеком в порфире. Под этой картиной находится следующая надпись:

X. Wincenty Franciszkan, pierwszy apostoł, pierwszy gwardian y pleban Pinsky, ochrziwszy Xcia Zygmunta i wielu innych do Chrystusu nawroconych, sam dokonał wieku swiego około roku 1369.[32]

Картина с этой надписью весьма интересна для людей, занятых исследованием вопроса о времени принесения в Литву греческой и римской веры, однако писана, вероятно, не слишком давно. По крайней мере, судя по рисунку, краскам и шрифту польских букв, которыми сделана приведенная подпись, картину эту нельзя относить к произведениям четырнадцатого века. Сверх этой картины, замечательна кафедра для проповеди, сделанная из темного дерева, и главный алтарь. Есть несколько хороших образов, но очень много образов, сделанных плохо. Деревянные фигуры ангелов недурны, но далеко не все. Огромный и прекрасный орган играет только

одною половиною, потому что другая его половина испорчена, и на поправку ее требуется значительная сумма, которой негде взять бедному костелу. Коридор вдоль всего монастырского келейного корпуса довольно дурно расписан картинами, изображающими различные чудеса. Живопись эта напоминает изображение странствований св. Феодоры, написанное на стене у выхода из ближних пещер Киевской Печерской лавры. На одном из боковых алтарей францисканской церкви стоит тонкая широкая дубовая доска.

На одной иконе есть множество серебряных привесков, изображающих сердца, ноги, руки, головы, и т. п., а между ими три или четыре, изображающие лошадей. Предание гласит, что серебряных коников подарил (ofiarował) еврей, у которого пропала лошадь. После долгих розысков своей пропажи он занес жалобу католическому святому, обещавшись при этом сделать пожертвование, и когда выходил из костела, встретил свою лошадь и исполнил свой обет святому, принеся в костел серебряных коников.

Вообще костел францисканов содержится

прекрасно, и все находящиеся в нем вещи хранятся бережно и с уважением, на которое памятники прошедшего имеют неотъемлемое право в глазах всех европейских народов.

Кляштор ксендзов иезуитов, обращенный ныне в православный собор, чрезвычайно красив. Он строен еще во времена Вишневецких, которые и были участниками в основании капитала на эту постройку. Если смотреть на Пинск из-за реки Пины, то этот храм и дом Скирмунта как бы царят над деревянным городом, застроенным, после пережитых им <бед>, без всякого вкуса и без плана. Внутри собора мы не могли найти ничего замечательного, кроме двух незабеленных фресков; все остальное забелено. В иезуитском доме помещается бурса, в которой хотя и много замечательного, но все замечательности подобного заведения описаны уже подробно людьми, не помышлявшими, что слова их будут *vox clamantis in deserto* (глас вопиющих в пустыне).

Костел доминиканов, также упраздненный теперь, отделяется для православной церкви. С него сбивают колоннаду и прола-

мывают плафон для постройки колокольни. И здесь, говорят, была хорошая стенопись, но теперь и следов ее незаметно, потому что после упразднения доминиканского костела, около семи лет назад, он был сдан еврею Аренборгу под склад шерсти. В кельях доминиканов живут теперь два православные священника и помещается городская аптека.

Костел коммунистов, который тоже был упразднен, но, по ходатайству жителей, теперь снова отдан католическому духовенству, — очень маленькая церковь. Около этого костела большой огород принадлежит детскому приюту. Мы пришли в этот костел перед вечером, когда он был заперт, и ключа ни у кого не могли найти. Пошли на огород. Там дети и старики, призреваемые обществом благотворительности (“Dobroszynnosci”), копали картофель. Молодая особа в черном платье с белым фартуком распорядилась работою. Ее здесь все знают под именем сестры Целины (siostry Celiny). Приют “Dobroszynnosci” имеет несколько “opiekunek” (опекунш), но самое деятельное участие в управлении им и в воспитании детей прини-

мают siostra Celina. Целина Людкевич, женщина не первой молодости, с ее энергичным лицом, говорящем о силе воли и решимости, окруженная детьми, воспитанию которых она посвятила свою жизнь, производит самое приятное впечатление. После лимфатических нимф, корчащих Офелий, и после эмансипированных башибузуков в юбках необыкновенно приятно встретить женское существо, не принадлежащее к разряду слабых млекопитающих, о которых сказано, что

*Ни полюбить они не смеют,
Ни вовсе бросить не умеют.*

По крайней мере, для меня встречать подобные лица всегда необыкновенно отрадно. Они поддерживают веру, что еще не выродилась славянская женщина, не вся ушла в кринолин да в гнилую французскую эмансипацию.

Вблизи от костела коммунистов начинаются остатки разрушенного Карлом XII замка князей Вишневецких. На еврейских задворках, по Магазиновой улице, уцелели еще стены замковой башни, а по улицам, то там то

сям, видны духовые отверстия засыпанных подземных склепов; местами видны вершины арок, под которыми начинаются огромные старинные подземелья, заплывшие современной пинскою грязью. Размеры оставшихся следов замковой башни, что на еврейских задворках Магазиновой улицы, и следы построек, принадлежавших к этому же замку, по другим улицам города, до самого Альбрехтова, свидетельствуют о колоссальной громадности здания, разбитого великим разрушителем. Остатки этих исторических развалин и до сих пор необыкновенно крепки. Один из погребов под Альбрехтовым теперь занят картофелем. В дальней стене этого погреба есть какой-то лаз со сводами, за которыми уже ничего рассмотреть невозможно. Цемент, связывающий кирпичи замковой башни, крепок изумительно. Впрочем, мы не могли вырвать кирпича, который, по-видимому, готов упасть от слабейшего прикосновения. Бывший здесь, около семи лет тому назад, горюничий Якобсон, признав полезным хотя мало-мальски загатить непроходимую грязь пинских улиц, также признал удобным упо-

требить на это дело развалины замка князей Вишневецких. Но толстые муры (стены) крепко стояли за себя, и большого труда стоило обратить их в мусор, который теперь затянула в себя всепоглощающая пинская грязь. Это, конечно, следовало бы предвидеть и прежде подъятия трудов, которыми г. Якобсон хотел завершить дело Карла XII; но, вероятно, предприятие это явилось по логике Антона Антоновича Сквозника-Дмухановского:[33] “Чем больше ломки, тем сильнее выражается деятельность градоправителя”. Теперь разбивают уцелевшие стены старой ратуши на постройку каменного острога, но добывание кирпича, сложенного на старинном цементе, идет, говорят, очень затруднительно. Я был в обломках этой ратуши. Видно, что они давно уже обращены в ретирадное место, и потому немного брезгливому человеку осматривать их весьма неудобно. То же неудобство встречается и при осмотре старого кляштора сестер базилянок.

Из новых зданий я видел паровую мельницу гг. Коржениовского и Родзевича; фабрику стеариновых и сальных свеч и мыльный за-

вод варшавского купца Роберта Ботте и, наконец, еврейскую общественную больницу.

Паровая машина на мельнице гг. Коржениовского и Родзевича — от известного у нас в России бельгийского фабриканта Кокерилля, а мукомольный аппарат — из Франции. Из числа многих паровых мельниц, которые я видел в поволжских городах, я не могу припомнить таких, которые бы не позволяли любоваться простотою механизма и верностью хода мельницы гг. Коржениовского и Родзевича. О количестве суточной выработки я не мог собрать сведений; но мука из-под камней идет, как из рукава, и вовсе не горячая, хотя, впрочем, поступает оттуда в холодильник. Три сорта обделанной крупчатки очень хороши, хотя мука и не так бела, как мука из волынской пшеницы. Раструсная же мука, молотая при мне, черна и затхла. Ее мелют из ржи, которая мокла на берегах, ожидая приема в магазины, и этой мукою будут питаться солдаты. Я в жизнь мою не видал ничего менее похожего на муку, назначаемую для человеческого питания. “Równo porió!” (все равно что зола), — сказал француз мель-

ник, поднося на лопатке к окну серую пыль, которую будут раздавать под именем муки. “Russki soldat wszystko jada” (русский солдат все ест), — добавил он, видя наше изумление при взгляде на такой материал. Наверху, где шастается рожь, из которой мелется эта мука, я сам видел отлетавший отброс: он состоит не только из пыли, но и из колосьев, и из соломы, и даже из мелких камешков.

По всей мельнице, до самого верха, проведена трубами вода и устроены краны на случай пожара, а от реки к мельнице прорыт канал, по которому к ней будут подходить суда, но канал этот еще не окончен. Вообще мельница прекрасная.

Завод стеариновых и сальных свеч и мыла, принадлежащий г. Ботте, недавно сгорел, но отстроен снова, и в полном ходу. Мыловаренным отделением заведует немец, а стеариновым поляки; на пильне, которая идет локомотивом, тоже поляки. Фабрика устроена, сколько я могу судить об этом деле, сообразно новейшим системам. Вырабатываемые здесь свечи так хороши, что в целом крае встречается беспрестанная подделка под фирму Бот-

те, и он теперь клеймит каждую свечку. Нет сомнения, что при огромном запросе на свечи и мыло фабрики Ботте и это не поможет, а вырабатывается здесь, как мне сказали, сальных свеч около 12000 пуд<ов>, стеариновых около 10000 пуд., а мыла около 14000 пудов в год. Сверх того, с этой фабрики отпускается олеин на фабрики суконные. Весь отпуск производится в Варшаву или каналом через Брест, или сухим путем, и перевозки обходятся весьма дорого.

Общественная еврейская больница на Каролине устроена и содержится пинским купечеством. В ней семь палат, где больные распределены по роду недугов. После московской Мариинской больницы, даже после менее блестящих столичных больниц пинская еврейская больница то же, что пинская еврейка в буром парике и ватном кринолине после обоворожительнейшей из дочерей нашей милой отчизны; но если ее сравнивать с уездными городскими больницами, то она будет относиться к ним гораздо выгоднее для своей репутации. Чистоты в ней нет, т. е. нет той чистоты, какую мы привыкли видеть в

домах русских и малороссийских; но относительно опрятности здешнего населения, и особенно еврейского, которое г. Крашевский называет просто “brudni żydzi” (грязные евреи), больница еще весьма терпима. По крайней мере в ней хорошо то, что принимают всякого, не исключая и христиан, что лечат в ней внимательно и успешно и дают больному все, что ему нужно. Больничная аптека, сколько я понимаю, гораздо полнее всех аптек уездных городских больниц, которые я видел. Прислуга почтительная. Для людей с самыми ограниченными требованиями и еще с более ограниченными средствами, конечно, и это благодеяние. Но, собственно, досадно смотреть не на то, что больница грязна, а на то, что весьма образованным из здешних евреев эта грязь вовсе не кажется грязью и что, по их мнению, всему этому так надо быть. Станный народ с своею любовью к ватным халатам и к двойным окнам без замазки, к довольству и к неряшеству! Говоря о пинской еврейской больнице, нельзя не упомянуть о докторе Фишкине, умершем около года назад. Доктор Фишкин, еврей по происхождению и

религии, был необыкновенно светлый и честный человек, пользовавшийся огромным уважением всего города. Он был известен не только как хороший врач, но и как бескорыстный врач. Целью всей его жизни было служить человечеству, забывая свои личные интересы. Он заявил мысль устройства в Пинске еврейской больницы для бедных, хлопотал о воплощении своей благородной идеи, был в ней врачом без всякой платы и умер, как чаще всего умирают добрые люди, т. е. о нем нигде и никто не кричал и не благовестил. Только здешние христиане, нередко позволяющие себе издеваться над бедными евреями, не позволили евреям превзойти себя в выражении видимых знаков признательности и проводили тело умершего еврея-бесребреника на его последнюю станцию.

Возле больницы устроен приют для бедных еврейских мальчиков. Их теперь всего доста в этом приюте. Приют устроен очень известною здесь еврейкой Хайкой Аюрий, а содержится он на счет общественного пожертвования, по копейке серебром с каждой свечи, зажигаемой в шабаш в каждом еврейском

доме.

Еще видел фортепианную фабрику г. Ошмянца. На этой фабрике в год делают до 20-ти роялей, очень хорошего тона. Они продаются от 300 р. до 350 рублей за каждый. Сверх того, г. Ошмянец делает церковные органы высокого достоинства. Недавно им сделан орган, проданный за три тысячи рублей серебром.

Вот что я, при помощи г. Киневича, видел в первый день моего пребывания в Пинске, — в том самом Пинске, о котором многие знают только потому, что в “Neck Europäisches Russland” крупно напечатано “Pinsker Sümpfe”, [34] а не будь этой благодетельной надписи, или не издай Русское географическое общество карты России, продающейся в Петербурге по 18-ти рублей серебром за экземпляр, еще меньше было бы людей, способных скоро попасть пальцем на место, где смешные немцы в карте России, продаваемой по 1 р. 50 к. за экземпляр, написали “Pinsker Sümpfe”. Господи, Боже мой! Только что отойдем, да поглядим, каково мы сидим, так и ползет в голову одна мысль за другою, и все они так одна с другою путаются, так одна за

другую цепляются, что темна, темна становится вода в облацах небесных! Посмотришь на поляков, посмотришь на себя, сообразишь чванство мурмолок, косых воротов и цветных ластовиц; взглянешь в киченье широких лакированных поясов с эмблематическими пряжками, и хочется, крепко хочется спросить и тех, и других:

*Какую же мысль собою вы отстояли?
Посеяли какие семена?..*

Зайдет у евреев трехдневный праздник — сидят три дня с черствым хлебом; не вздумает мудрый немец издать в опрятной папке “Europäisches Russland” — не достанут дешевле 18-ти рублей подробной карты родного края. А слова! Кто сговорит<ся> с нами?

На словах — соколиный полет.

Слово мысль обгоняет, друг другу выговорить не дадут, от нетерпения захлебываются патриотизмом, в азарт от славянства лезут... Проснись, Тарас Григорьевич! Скажи им еще раз своими честными устами:

*Славяне! Славяне!
Славных прадедов великих
Правнуки погани.*

Пинск, 2-го октября (20-го сентября).

После десятидневного пребывания в Пинске я уже затрудняюсь и писать о нем в моем дневнике. Не собирая никаких определенных сведений, а смотря на вещи глазами туриста, я беспрестанно развлекаюсь различными мелочами, стараясь из них извлечь такие разносторонние результаты, каких, может быть, из них вовсе и невозможно извлечь. Благодаря вниманию г. Киневича, я уже в первые дни моего пребывания в Пинске видел бóльшую часть тех достопримечательностей Пинска, на которые указывают история и народные предания. В последующие дни мне случилось познакомиться с священником приходской церкви, что на Леще, и он подарил мне несколько довольно интересных списков с документов, оставленных в его церкви отцами базилианами. Документы эти по преимуществу касаются различных тяжёбных дел, весьма интересных для охарактеризования эпохи борьбы православного духовенства с униата-

ми и духовенством католическим. Из одного такого списка видно, что монахи православного исповедания имели однажды весьма серьезную ссору с униатскими монахами ордена св. Василия; но кто из них остался победителем — неизвестно.

Церковь на Леще очень древняя; сначала она принадлежала православным, и у них была отобрана поляками и отдана униатам; потом у униатских монахов отобрана русскими и отдана православному духовенству. Редких вещей в ней, однако, нет, кроме резного изображения Спасителя, как говорят, чудотворного и пользующегося большим уважением в окрестности. В церкви есть книга, в которой издавна записываются чудеса, совершенные этим изображением; чудеса состоят в исцелениях и в даровании детей. Еще достойно внимания озерцо, принадлежащее этой церкви. В нем бывает такое обилие рыбы, что ее можно ловить просто руками. Несколько лет тому назад в нем была поймана рыба совершенно неизвестной породы; священник отослал редкий экземпляр к местному пинскому естествоведущему для определения вида, а естествовед

ее сварил и съел. В лесах около Пинска есть остатки развалин (как говорят) замка королевы Боны; но трудно поверить, чтобы сказания эти были сколько-нибудь справедливы. Видел я на дворе полиции старую чугунную пушку, найденную помещиком Эйсмонтом в болоте у с. Мисковичи. Говорят, что это шведская пушка, потерянная Карлом XII, но я не могу судить, какая она. На ней нет никаких других знаков, кроме тех, которые сделаны солдатами, избравшими ее местом своих бесед. Пинского городничего я не видал, но видел на полицейском дворе одного жеребца и одну корову; животные очень разлопались. Был в детском приюте, но, к крайнему сожалению, не застал дома панны Целины. Девочки все, числом, кажется, около пятидесяти, уже пообедали и сидели в классе. С ними занимались две молодые девушки. Видел двух последних сестер базилянок упраздненного костела: одна уже на ладан дышит, другая еще свежа, трудится, работает и живет в прошлом. В с. Охове замечателен алтарь, сделанный г-жею Скирмунд, весьма серьезною артисткою. Сверх всего этого, я видел еще заме-

чательный униатский требник, в котором напечатан любопытный чин расстрижения священника.

Обитатели Пинска интересны еще едва ли не более, чем самый Пинск. Впрочем, они именно как бы сотворены друг для друга: и Пинск без пинчуков, и пинчуки без Пинска просто, кажется, даже немыслимы. Они сами это как будто чувствуют. Пинчук-простолоудин не хочет, чтобы его считали малороссом, литвином или поляком; его не кличьте “человиче!”, как кличут незнакомого человека в Малороссии и Украине, он пресерьезно отвечает: “Я не человек, я пынчук”.

Пинские евреи — это необыкновенно странные евреи. Между ними, напр<имер>, образованных людей едва ли меньше, как между одесскими евреями. Многие из них по несколько раз бывали за границу, ведут большие торговые дела с Европой, знают несколько европейских языков, даже есть между ними люди, занимающиеся философией, и, между тем, все они не обнаруживают никакого стремления показывать себя европейцами, как делают это евреи в Одессе и

некоторых заднепровских городах. Напротив, они гордятся своею “старозаветностью”. Носят длинные сюртуки до пят, пейсы на висках и бархатные ермолки; не едят мяса за христианским столом; не пьют многих общеупотребительных сортов вин; строго держатся не только всех обрядов, предписываемых законоучителями иудейства, но даже самым странным образом сохранили и сохраняют многие суеверные обряды, которых нельзя увидеть ни в Бердичеве, ни в Белой Церкви и ни в одной другой столице евреев. Например, перед судным днем пинские евреи пресерьезно приходят к реке Пине, молятся и потом, припрыгивая над водою, трясут над ней свои платья, чтобы отрясти таким образом все свои грехи; протягивают от одного дома к другому тоненькие веревочки для обозначения пути, по которому один домохозяин может принести от другого огня в шабаш; верят в “хапуна”, который будто бы в известную ночь может “схватать” и унести еврея в преисподнюю; содержат общественного глашатая, который перед заходом солнца ходит скорым шагом по стогнам града Пинска и орет во всю

глотку какие-то дикие возгласы, на которые не обращает внимания никто, даже и городническая корова, несмотря на то, что она знает о законопротивности раздающихся с улицы криков. Мне кажется, сколько я могу судить по разговорам, то половина пинских евреев не верят, что хапуну придет охота играть роль Плутона, похищая, вместо Прозерпины, лохматого еврея пинской породы; но все они очень серьезно говорят о хапуне, молятся целую ночь, в которую этот господин может распоряжаться, и ходят босиком целые сутки. Я видел все это и на улицах, и в домах, и в школах, где одна половина евреев орала, как укушенная змеею, другая глазела по сторонам, а несколько вольнодумцев очень спокойно спали, растянувшись на полу. Благоговения незаметно даже и поддельного, фари-сейского. Я сам видел (и имею на это двух благородных свидетелей), как во время богослужения в большой пинской синагоге два еврея поссорились и один другому публично дал полновеснейшую оплеуху; но это никого из присутствовавших евреев нимало не смутило, и все пресерьезно махали головами, в пол-

ном убеждении, что они дело делают...

От jak zwyczajnie na świecie![35]

В Пинске сверх обыкновенных, “старозаконных” евреев-талмудистов есть еще весьма характеристическая секта “скакунов”, которые отвергают всякую потребность догматического изучения еврейского закона и довольствуются одним исполнением предписанных раввинами обрядов. Раввины их старались всячески пополнять обрядовую сторону и сделали из них каких-то еврейских дerviшей. Я не имел случая познакомиться с существом всех обрядов, отличающих скакунов от прочих евреев, но видел их богомоление, при котором они скакали, кричали, хватались за волосы, ревели, взвизгивали, словом, бесновались до упада. Секта скакунов (они же хасиды и китаевцы) существует всего около 90 лет и началась у нас, в России. Основателем ее был некто еврей Израиль. Он начал распространять между евреями Могилевской губернии слух, что ему известен переносный смысл Священного писания, и стал вводить между своими последователями различные религиозные обряды, несогласные с обрядами

евреев старозаконных. Вторым поборником этого еврейского раскола был еврей Беруш, из Мендзиржиц, местечка Царства Польского. В царствование императора Павла раввин пинских скакунов Вигуор был взят в Петербург; содержался там некоторое время; сказывают, говорил с самим императором и, наконец, возвратясь оттуда, начал открытую пропаганду. Но новое учение не только должно было вынести правительственное запрещение и преследование старозаконных евреев, вооружившихся против раскола, — оно вынесло и внутреннюю распрю, вследствие которой еврейские раскольники разделились на ружанцев, ладицких и каролинских. Нынешний раввин пинских скакунов живет в м. Столине и управляет огромным кругом прыгающих еврейских раскольников. Он пользуется большим уважением у своих сектантов и имеет на них неограниченное влияние. Скакуны не знают суда выше и справедливее суда столинского раввина. Они смотрят на него как на существо освященное и за великое счастье считают прикоснуться к нему или к вещам, к которым он прикасался. Так, например, они по

крошкам делят между собой очистки с яблок, которые кушает столинский раввин, выбрасывая очистки за окно в толпу своих почитателей, ожидающих освященной подачи. Раввин располагает довольно значительными суммами, собираемыми по его назначению, и... он очень небеден...

От jak zwyczajnie na świecie!

Года четыре тому назад столинский раввин выдал замуж дочь за одного пинского “скакуна”. “Скакуны” устроили молодым парадный въезд; двенадцать человек из них нарядились в какой-то фантастический убор, с эполетами, в кивера с кутасами (кистями), и верхом встретили и конвоировали въезжавшую в Пинск повозку, в которой сидели молодые, а на другой такой же повозке, запряженной восьмью лошадьми, ехал сам сталинский раввин, в белом балахоне и в соболях. У самого въезда в город поезд, говорят, был встречен несколькими лицами, не принадлежащими к секте скакунов и не имевшими намерения есть очисток от еврейского яблока; но “скакуны” нашли для них другой десерт, и процессия совершилась благополучно, не будучи за-

несенною ни в одну хронику “Минских губернских ведомостей”. Евреи самого города Пинска, сверх того, делятся еще на собственно пинских и на каролинских; но деление это имело смысл когда-то, когда евреи части города, называемой каролинскою, стараясь уклониться от соучастия в каких-то платежах, падавших за старое время на пинских евреев, доводили, что Каролин есть самостоятельное место, отстоящее от Пинска на целые три мили (21 верста). Не знаю, удалось ли каролинским евреям убедить в этом кого следовало. Но в самом деле Карелии есть просто часть целого Пинска, ничем от него не отделяется, и житель Каролина так же, как и житель Пинска, хорошо знает различные свойства обитателей того двора, на котором хранится шведская пушка. В каролинской так же, как и в пинской части, живет очень много еврей-капиталистов, людей весьма светлых. Я, впрочем, нигде между евреями не видел такой любви к наукам, как в Пинске. Здешний еврей никогда не считает своего образования оконченным. Тут не только есть женатые люди, которые продолжают брать уроки у учителя

лей гимназии, но есть седой, очень древний старец Г—берг (человек с состоянием), который каждое утро около двух часов “учится” под руководством другого еврея. Между еврейскими женщинами в Пинске очень много личностей, образованных по европейской программе; но я не знаю, как эти существа сумеют помирить прогрессивные идеи, развернутые им наукою, с рутинными требованиями фарисейского фанатизма? Мало-мальски развитой женщине не только не сносно, но даже вовсе невозможно ужиться в еврейской семье, хотя бы и самой либеральной. Самые либеральные из здешних евреев смотрят на женщину совершенно по-татарски; и хотя и не считают законным бить жену, но и не считают беззаконием отнимать у нее все средства жить сердцем и быть женою и действительным членом общества. Но, может быть, и семейная жизнь здесь также дождется своего Фишкина. Не все вдруг, да не все вдруг. Вдруг здесь ничего не поделаешь, даже не узнаешь, сколько в Пинске обитает всех евреев, а известно, что их живет здесь вдвое более, чем значится по бумагам. Один оригинал, занима-

ющийся собиранием сведений о различных ухищрениях евреев и о результатах этих ухищрений, добрался до настоящей цифры обитающих в Пинске евреев следующим образом. Есть праздник, перед которым всякий еврей закалывает для себя у общественного резника курицу, а каждая еврейка петуха. Оригинал аккуратно забирает у резника справки о количестве зарезанной птицы и по этим сведениям утверждает, что в Пинске есть около шестнадцати тысяч евреев, а совсем не столько, сколько их значится по сведениям пинского градоправителя. Евреи в Пинске, кажется, — все; ими, их деятельностью живет не только весь город, но и вся торговля целого края. Ремесленники, купцы, извозчики — все евреи, и без еврея здесь ничего не может произойти.

Христианское население города трудится очень мало, и то с грехом пополам; но в окрестностях города деятельность развернута гораздо больше. Главный промысел здешних крестьян — извоз, преимущественно по тракту от Домбровицы к Белостоку. Новая железная дорога на этом расстоянии, об утверждении

нии которой теперь еще продолжается ходатайство, угрожает этому промыслу сильным подрывом, и извозничествующие крестьяне негодуют на новую затею. Особенно это негодование высказывается в селах: Мотоле, Бзуеже, Дружиловичах и многих других, где все население исключительно занято извозничеством. Бедные люди не хотят понять, что чугунка не отнимет у них хлеба, а еще увеличит их заработок, и усердно стараются то свалить веху, то другим каким-нибудь образом что-нибудь сделать во вред производству изысканий для Литовской железной дороги. Только в имении помещика Александра Скирмунта крестьяне, говорят, накупили лошадей в ожидании близких работ на новой чугунке. Эти бедные люди, в свою очередь, не знают, верно, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Впрочем, вообще крестьяне смотрят на изыскателей линии весьма различно: так, например, в Хомске (к Белостоку) они затеяли драку с прислугою отряда, делающего изыскания, а между Пиной и Домбровицей охотою идут делать просеки по лесам; в Новошицах же пресерьезно послали

к отряду инженеров депутацию с предложением обойти их село и идти на двор помещика Орды, за что каждому из отряда обещали дать по три рубля, а старшему шесть. В Плещицах инженеры зашли отдохнуть в одну крестьянскую хату, а у входа поставили запасную вежу, без всякого умысла. Село пришло в отчаяние, Пинчуки суетились, толковали, спорили и, наконец, явились с просьбою убрать пугавшую их вежу.

Но не одни крестьяне, а и городские торговцы далеко не одинаково думают об этой дороге, В то время когда все оптовые торговцы возлагают все свои упования на литовскую чугунку, — мелкие торгаши, краснорядцы приходят от нее в ужас. Эти симпатии и антипатии, конечно, гораздо сознательнее крестьянских страхов, и они могут служить хорошим ручательством, что в Пинцизну есть что привезти и есть что из нее вывезти. Здесь целое м. Пагост занимается исключительно изготовлением паркетов; м. Городно — горшечным производством; в д. Достоеве фабрика земледельческих орудий самоучки Янушко; в Плотнице — стеклянный завод;

в Столине (резиденции раввина скакунов) и в Речице развита кожевенная фабрикация; по всей реке Горыни, как в Пинском, так и в Мозыревском уездах, держат огромные стада рогатого скота и из молочных скопов делают сыры, так называемые “голандерские” и “швейцарские”. Последний сорт сыра очень хорош и идет (в больших кругах, около двух пудов в каждом) преимущественно в Варшаву. В Пинском же и Мозыревском уездах крестьяне воспитывают огромные стада четвероногих свиней, за которыми осенью приходят мазуры, закупают их и стадами угоняют в Царство Польское и другие места на Западе. Диких свиней здесь так много, что в имении Льва Радзивилла их убивают около 150 штук в год. В м. Давидгородке мещане занимаются огородничеством; но как, по причине плохих путей сообщения, им трудно распространять продукты своих плантаций, то они пускаются на разные штуки, например, продают траву “любчик”, способную привязать одно сердце к другому, и т. п. Впрочем, вообще можно сказать, что сельский народ в Пинщизне довольно трудолюбив, мягкосерд и незлобив. О спо-

собностях и трудолюбию пинчуков некоторым образом можно судить по разнообразию промыслов, развитых в крае, а о характерах отчасти можно составить понятие по тому, как идет здесь крестьянское дело. В Пинск^{ом} уезде уставные грамоты введены почти везде без всяких хлопот, с свободного согласия обеих сторон. Многие приписывают успех в этом деле тому обстоятельству, что пинские помещики большею частью жили всегда дома и были близки с своими крестьянами, а потому и скорее могли с ними понять друг друга и расквитаться. Но я не решаюсь видеть в этом обстоятельстве единственную причину образцового согласия крестьян с землевладельцами в Пинском уезде. Тут есть другие причины “згоды” (согласия), которых бесполезно, кажется, поискать в народном характере. Народ и здесь, как и в Великой России, как и во многих местах, не сразу и не везде поверил, что даруемая ему воля обусловлена известными ограничениями. Он так же местами отпирался от “згоды” (согласия), даже “бунтовался”, но как он здесь “бунтовался”? Очень оригинально и наивно.

Напр<имер>, в деревне Струга, принадлежащей помещику Каморницкому, пользующемуся известностью добрейшего человека, вечером зашел в корчму дьячок. Крестьяне, готовясь на днях подписать грамоту, сидели в корчме и мирно беседовали, как что будет. “Не подписывайте — это все плутня-мутня”, — крикнул дьячок, и пошли толки на иной лад, а утром с крестьянами уже нельзя было найти никакого лада. В д. Переполе, к помещику Ст. Орды явились его крестьяне, поздоровались приветливо и потом сказали, что так как дом его им нужен под канцелярию, то они просят его очистить: “Але як ты був для нас всегда вельми добрый паниско, то мы тебе даем флигель; перебирайся туда; держи себе корову и 20 моргов земли тебе от нас по конец твоего века”. Подобное этому происходило в имении помещика Чернецкого и в некоторых других. Крестьяне везде с нетерпением ожидали губернатора, который, по разнесшимся у них слухам, должен был приехать раздавать земли. Приехал губернатор, сказал речь, крестьяне почесались и стали расходиться. Какой-то еврей, подтрунивая

над ними, забежал к пану старосте и сказал: “А что, пане староста? Ходим до Менделихи на консуляцію!” Молчал пан староста, молчали и крестьяне, не достаивая ответа насмешливый вызов. В одно только село помещик вызвал казаков, но и это оказалось совершенно излишним: крестьяне вызвали из Лещи своего священника, посоветовались с ним и стали исполнять положение. Вообще народ терпеливый и очень добросердечный.

Шляхта мелкая здесь в довольно печальном положении. Средства ее беднее мужичьих, а гонора шляхетского достаточно. Несмотря на то что имение шляхтича, по здешнему выражению, так велико, что пес, улегшись поперек его, хвост уж на чужой земле держит, шляхтич очень разборчив на труд, пока нужда не приступит к нему круто и не закабалит его в крепкую кабалу к еврею. Мне показывали шляхтича Шп—ского, который уже второй год служит на витине[36] у еврея за 40 рублей, занятых им и своевременно не отданных заимодавцу. Вообще пинская мелкая шляхта — люди очень смешные своими притязаниями и очень, очень жалкие. Терпя

во всем нужду, они все-таки добиваются, чтобы им говорили “вашети”, а не просто без титулов. Бедные люди! Поместное дворянство в Пинцизне совершенно такое же, как дворянство в Волыни или Подоли. Есть здесь Л. Р—л, которого крестьяне благословляют, как своего благодетеля; есть или недавно еще была старушка К—нова, терпеливо учившая по вечерам девочек и мальчиков села Оброва в то время, когда еще в Петербурге не увлекались мыслью профессора Павлова о заведении школ для народа; есть даже и такие, как г. Кр—ский, подаривший лошадь казаку, плававшему о пропавшем коне, но есть и другие. Есть такие, которые призывают казаков вовсе не для того, чтобы утирать из сострадания чьи-либо слезы; есть люди полудикие и полусумасшедшие, гордые тем, чем нечего гордиться. Польское происхождение и католичество в их глазах — какая-то особенная заслуга, с которою они носятся, как дураки с писаною торбою, тыкая ее в глаза всем и отмахиваясь ею от зловредного смешения с самарянами. Гг. NN оставляют заезжего гостя в своем доме без пици только потому, что он не по-

ляк; г-жа ХХ отказывает евреям своего местечка в лекарстве, говоря, что “вы нашего Христа распяли”. Евреи находчивее русских. Еврей местечка Х. сказал благочестивой пани: “Это не мы, пани, распяли Христа! Не мы! Это ружанские!”[37] И идет этот патриотическо-католический прюдери́зм так далеко, что даже некоторые поэты польского происхождения не понимают, какая мерзость может из всего этого вырасти, и бряцают нелепые вещи на своих лирах, в полном убеждении, что они Орфеи *sui generis* (своего рода). В павлиньих перьях сидят эти ночные птахи и как голуби воркуют; но не любить, а ненавидеть — их девиз. От ненависти они ожидают того, что может дать любовь.

От jak zwyczajnie na świecie!

Вот и все мои пинские наблюдения. Оставляя оригинальную столицу скакунов, я желаю ей, чтобы она скоро стала тем, чем она должна быть и может быть по ее географическому положению. Пинску необходима железная дорога, и чем скорее его свяжут с Белостоком — тем лучше и для Пинска, и для Литвы, и даже для Петербурга, куда могут ездить

сушеные вьюны, и для Москвы и ее окрестных фабрик, которые найдут в литовском Полесье большой сбыт для своих произведений. Теперь же Пинск не может сделать ничего, кроме торговли лесом, который он отправляет за границу, в Данциг. Но что это за несчастная торговля! Теперь, например, Данциг завален лесом, лесной материал там без цены, ничто не продается, а между тем капиталы убиты, и не один пинский капиталист несет такие серьезные убытки, что они не могут радовать людей, понимающих, что несчастья частных лиц всегда довольно вредно отражаются на делах целого края. Лес стал в Данциге, в Пинске пострадали несколько торговых домов, и в крае нечем торговать, нечего продавать для того, чтобы купить всего, в чем этот край нуждается. А другими вещами как торговать? Как, например, доставить до варшавской чугушки сало, сухую рыбу, свиное мясо и все прочее, что могло бы прекрасно быть проданным вдали всего голодного пространства, по которому протянута линия Варшавско-петербургской железной дороги? Сало и рыбу, конечно, можно везти на фурман-

ках, на которые пинчуки кладут по две бочки (dwie lojuwni) на пару, но подвоз сала на лошадях непомерно возвышает цену ему, а свиное мясо, которым могло бы пропитывать себя бедное население Литвы, вовсе туда не попадает. Пинчуки, собирая по осени свиные стада, выгнанные в леса весною, разбирают животных по местам и целыми же стадами продают их мазурам, которые живьем гонят их на запад. С рогатым скотом еще труднее. Его здесь также не находят расчета бить, а гонят в Варшаву, и как для этого скота нужен дорогой корм и немощеная дорога, то его гонят на Влодавы и делают, таким образом, огромный крюк к югу. То же и с хлебною торговлею по каналам: то воды мало, то одна барка затонет и все задние должны стать, отпустить рабочих; потом снова искать новых и платить, что только запросят. Словом, это, как говорят русские купцы, не торговля, а “канитель”, и мотать канитель очень неприятно, а главное, что кругом для всех безвыгодно.

Завтра, наконец, я прощаюсь с болотистым Пинском, куда, по мнению перепуганного Бринкена, якобы только и можно проехать

через одну греблю. Еду в Домбровицу на пароконной фурманке с товарищем, уже не верующим в гомеопатию, а почитающим универсальным средством для облегчения человеческих страданий кровопускания и притом самые сильные. Я с ним, разумеется, не стану спорить, так же, как не спорил с гомеопатом; потому что, по моим наблюдениям, и гомеопаты, и поборники аллопатического кровопускания идут по дороге весьма ложной и принадлежат к той старой школе, от которой нечего ожидать, но которую нельзя заставить думать иначе, как она привыкла думать, не думая.

Насилу одолели мы тринадцать миль (91 верста) расстояния между Пинском и Домбровицею. Дорога тяжкая и скучная: “небо, ельник и песок”, да кругом печальные кочковатые болота. Местность такая же ровная, как и по целой Литве от Вильна до Пинска. Первая гора встречается только при въезде в самую Домбровицу, или Дубровицу, как ее называют окрестные жители, свободные от политических притязаний, в силу которых Львов окрещен Лембергом, Любляны переименованы в

Лайбах, а Дубровица — в Домбровицу. Замечательного по дороге встречается немного. На первой кормежке, в селе Лемешковке, еврей-корчмарь жаловался, что пинские хасиды, “святые евреи”, проезжая вчера в м. Столин, к своему святому же раввину, украли у него из корчмы 35 руб. сер<ебром>, и как они ни просил отдать деньги назад, не отдали. Жаль было бедного грешника, обиженного “святými”. На ночлеге, в грязнейшей корчме, принадлежащей К. Скормунд, мы едва не застыли и не задохлись от дыма. Приют отличный! Добрый хозяин конуру для собаки лучше устроит. Цена за корчму в год полагается, однако, в 400 руб. серебром. Можно было бы хотя 10 % с этой суммы пожертвовать на устройство единственного пристанища в с. Ратицком. На наружной стене корчмы есть какая-то запретительная надпись, а внутри есть две надписи, из которых первая гласит:

“Сегодня пить,
Завтра не пить”;

а другая:

“Сегодня Мошко дурак”.

Обе надписи сделаны на великороссий-

ском наречии. Первая весьма хорошо сохранилась, а последняя едва заметна. Около корчмы ночевал большой обоз с мукою, идущую из Домбровицы в Пинск. Мука везется в холщовых мешках, по 5 пуд<ов> веса в каждом. В фурманку запрягаются две лошади и на них кладется по 7 мешков, а за доставку от Домбровицы до Пинска платится по 4 злота (пятиалтынных) с мешка, т. е. 28 злотых (4 р. 20 к.) на пару коней, — плата за тринадцать миль расстояния очень низкая и возможна только при крайней экономии крестьян, которые в два пути, т. е. с обратным путем из Пинска в Домбровицу, издерживают (по рассказам) не более 25 коп. на фурманку. Они везут с собою и корм лошадям, и провизию для себя; останавливаются за деревнями, варят кашу и так отбывают свою путину. Иногда они находят работу и из Пинска, например перевозку сахара, но это будет не всегда, и, снаряжаясь из Домбровицы в Пинск, они уж ведут расчет на оба пути.

Сельский народ по эту сторону Пины говорит совсем не так, как придорожные крестьяне от Гродна до Пинска. Там народ легче всего

понимает польский разговор, а сам говорит каким-то испорченным и бедным польско-малороссийским наречием; здесь же, наоборот, редкий понимает по-польски, а каждый как нельзя более свободно разумеет разговор великорусский, а сам между собою говорит на малороссийском языке с русицизмами, как, например, говорят частью в Севском, частью в Грайворонском уездах. Из сел, которые мы проехали, наиболее замечательно Городно, известное в околке своею горшечною фабрикациею. Выделкою горшков здесь занимаются пятнадцать хат. Цена горшкам из первых рук необыкновенно низка. Крестьяне продают их перекупам по 75 коп. за сотню. В здешних крестьянах мне не удалось заметить ни симпатий, ни антипатий к польскому или к русскому элементу. В них есть какой-то странный индифферентизм, как бы следы апатии, заносимой из Литвы с северным ветром. У пинчуков, наоборот, апатии этой не заметишь. Там польский элемент, благодаря панам и ксендзам, утратил всякое народное сочувствие. Говоря о польском элементе, я разумеется, говорю о панстве, потому что поля-

чество пинчуками не понимается отдельно от панства и панство отдельно от полячества. “Gazeta Narodowa” и некоторые другие заграничные польские издания напрасно ищут причин некоторых столкновений народа с панами в разных подстрекательствах, производимых людьми, враждебными польской народности. Конечно, трудно разуверить кого бы то ни было в том, что крепко засело в голову; но если бы польские органы вникли в дело поближе, небеспристрастнее; если бы они дошли до спокойного состояния, в котором русский народ и его настоящие отношения к полякам сделались им ясными, то они поняли бы, что не враги польской народности вооружают против нее крестьян, между которыми живут католические помещики, а что дело это — творение рук приятельских, рук, которые еще памятливы “хлопам”. “Зачем нам казаков прислали, — говорил мне при свидетелях крестьянин г.***, — это паны спивают, а нам казаков шлют! На что же казаки?”

— Что ж паны вам делают?

— Да теперь ничего не делают.

— Ведь воли другой не будет.

— Да мы это слышали. Нам только бы на чинш (оброк) перейти.

— А грамоту подписали?

— Теперь, как ксендз заручился, что никакого ошуканьства (обмана) нет, так и подписали.

— А то не хотели?

— Ни за что бы без ксендза Василья не подписали. Исправник было и розог закричал, да мы стали на том, что не подпишем, пока ксендза Василья с Леци не привезем; так и отстояли.

— Ну, и пан уж теперь не гневается?

— Ласковый такой стал! “Поблагодарите, — говорит, — государя и нас за свободу”. А мы все так и сказали, что “уж як маем кого благодарить, то царя, а с паньской ласки-то и досе б и стар и мал с худобой на поли пропадали”.

— Так и сказали?

— А так и сказали!

— И что же он?

— Побрались с исправником под ручки, да геть до покою, а к нам казаков наставили.

— Обижают вас, что ли, казаки?

— Нет! Обиды нет, только...

— Что ж, хлеба жаль, что ли.

— Не то; чего хлеба, когда Бог зародил! А на что он их вытребовал? Мы его ведь не обижали; мы ведь знаем, зачем казаки-то в Пинске! Да все это напрасно, право напрасно.

Ну, вот и извольте рассуждать о казаках, с точки зрения правительственной и со взгляда панов и крестьян. Медаль-то имеет не одну сторону...

Обозы с хлебом тянутся по всей дороге непрерывно до самой Домбровицы и свидетельствуют, что рельсы, положенные между Пинском и Домбровицею, не заржавели бы, но... где возьмут земли для насыпи, необходимой через постоянные болота и всю изменчивость, заливаемую водою не только в весеннее время, но и вообще в дождливое, — уж придумать не умею. Впрочем, я же ведь не инженер, так и судить об этом деле мне, может быть, не довлеет.

Гг. Корец и Ровно.

Обыкновенно думают, что нет хуже езды, как между Тамбовом и Воронежем или между Уманью и Одессою. Напрасно так думают.

Каждый длинный проселочный путь даст себя почувствовать и вспомнить от первой строфы до последней известные стихи кн. Вяземского о холодных, о голодных, об именьях бездоходных, о метелях и постелях. От Пинска до Домбровиц набрались мы горя до бород, а от Домбровиц к Корцу и до усов хватило.

Есть, по милости еврейских праздников, нечего, спать не на чем, а если и добьешься еврейской подушки, то вместо сна не успеваешь огребаться от клопов, точно в московском долговом отделении, куда благочестивое российское купечество сажает своих во Христе братьев, вознося за них, независимо от того, теплые молитвы. В м. Яполоти мы попали в такую корчму, что уж и уму непостижимо. Пошли искать пристанища у мужичка. Какая-то старуха-солдатка, владелица хатки, построенной на помещичьей земле, согласилась дать нам приют и сварить кулеш с куском соленого поросенка. Дома была только старуха да ее невестка, молодая, хорошенькая бабочка, вышедшая за кантониста из колокольных дворян. Молодого хозяина не бы-

ло дома, но на стене висели его доспехи: огромный бубен и скрипка. Семья питается тем, что кантонист с женою зарабатывают на чужом поле, а зимой он обращается в сельского музыканта, играет на свадьбах и вечерницах. “Доля наша горькая, — говорит старуха, — а паны все еще пять рублей в год требуют за землю, что под хаткой. А какая земля-то! На шляху на самом сидим! Кому мы мешаем?” Священнейшая простота! Она убеждена, что если никому не мешает, так и никто тебя трогать не должен. Этак и мы могли бы претендовать на клопов, поселившихся в хатке кантониста, а они нам не дали на волос заснуть, с 8 часов вечера до 5 часов утра. Клопу что за дело до права, когда у него есть средства досадить человеку: он его и мучит по праву гадины.

В Корце, сборном пункте волынского хлеба, мы ничего не могли узнать, потому что евреи ведут дела “по-комерчески”, т. е. все шито, да крыто; а как нас очень интересовали цифры хлеба, отпускаемого Волынью в Литву и Европу через Пинск, то мы довелись о некоем еврее, проживающем в г. Ровне и от-

лично знающем дела края. Оставалось одно средство: обратиться к просвещенному содействию ровенского всеведца. Так мы и сделали. В Ровно приехали хотя раненько, но остались ночевать. В 8 часов вечера у нас был дорогой субъект и рассказал нам, что точных сведений о всем хлебе, идущем из волынско-го края к Пинску, никто сообщить не может, потому что евреям нет выгоды заниматься статистикою, а просвещенным людям совсем не до того. Однако он нам перечел на память известных ему помещиков, от которых хлеб идет вверх по Горыни. Выходит страшное количество ржи и пшеницы, и все идет мимо голодного края, по которому тянется линия Петербургско-варшавской железной дороги, не имеющая достаточного количества грузов. Цифры сырых продуктов, отпускаемых из Волыни на север, если не ошибаюсь, напечатаны в "Kurjerze Wileńskiem"; и я очень желаю, чтобы они попались на глаза тем, кого интересуется положение дел на варшавской линии. Я смею думать, что доставить этой линии выручку, способную избавить правительство от платежа гарантий, могут только побочные

ветви железных дорог, без которых она, в разъединении с местами, производящими отпуск хлеба, весьма вероятно останется при нынешнем незначительном перевозе, не оплачивающем ее акционерных процентов, и будет тяготить правительство требованием от него доплаты условной гарантии.

Женщины в Ровно все еще в трауре; денег мелких и здесь совсем нет, как в Пинске, и сдачи не дают даже с рубля. Уездный казначей так любезен, что не хотел получить денег за подорожную из трехрублевого билета и заставил меня бегать по городу и принести ему грош в грош рубль тридцать пять копеек. Что за оскорбительное положение и какое понятие о Руси и о русском кредите должен получить иностранец, столкнувшийся с порядками в ровенском казначействе? А ведь деньги непременно есть в казначействе, и правительственного распоряжения не выдавать их нет. Это уж или любовь к искусству, или... неужели все казначейства, учрежденные в городах, где евреи занимаются разменом денег, одинаковы? Мне говорили, что так. Но так или не так, а за промен рублевого билета на

польский билон я платил по 6 %, а за размен десятирублевого билета на рублевые бумажки по 21 коп. серебр<ом>; у казначеев же и просить не стоит, они в казначействах не разменивают, и, благодаря им, в здешнем крае русский рубль на 6 % дешевле, чем в столицах и во всей срединной России. Благодаря им, здесь крупный билет, при промене на мелкую бумажку, принимается только по 98 коп. за рубль. Отчего же в Петербурге, в Москве, Калуге, Туле, Саратове, словом, по целой России, где евреи не берут по 6 коп. за размен рубля, деньги есть, а тут их нет? Разве неизвестно, что у менял каждого из здешних городков есть стачная такса, ниже которой нельзя разменять, а чиновник, обязанный противодействовать вредному и искусственному ажио... Да чего же другие-то смотрят? А евреи? Как они, голубчики, твердо знают свою роль и чиновничью натуру.

2/14-го октября, Броды.

Вот я и за границей. Мук-то, мук-то зато на-терпелись! Из Ровна спешили как можно скорее добраться до Радзивилова, чтобы переехать границу, — не успели, потому что на по-

следней станции (Каменно-Вербовской) какие-то чиновники особых поручений (osobych poruczeń), как назвал их пан смотритель, забрали всех лошадей и ямщиков. Не поедут ли они, по крайней мере, в Ровно и не обратят ли там своего просвещенного внимания на разменные операции? Пан смотритель советовал нам непременно заехать в Радзивилове к еврею Беренштейну, который якобы в таможене всякую штуку может сделать, даже может пропустить нас после 8-ми часов за границу. Мы, однако, уже слышали о радзивиловских порядках и к г. Беренштейну не поехали, а велели завезти себя к шляхтичу Михолу, о котором нам говорили встречные проезжие с хорошей стороны. Ямщик ни за что не хотел везти к Михолу, говоря, что там и квартир нет, и о паспортах хлопотать некому; но мы настояли на своем — Михол, пожилой человек с южнославянским лицом, отвел нам большой номер в две комнаты, дал свежий, вкусный ужин, кофе утром, послал фактора выправить надписи на паспортах и за все взял около 3 рублей. Прописка двух паспортов в полиции и на таможене стоила нам пол-

тора рубля серебром. “Это уз такое положение”, — объяснил фактор, принесший наши паспорта. Другим, говорят, эта операция обходится гораздо дороже, потому что в Радзивилове есть промышленники, пользующиеся незнакомством проезжающих с таможенными порядками. Промысел этот производится так: несколько радзивиловских евреев платят определенное жалованье смотрителям почтовых станций по сходящимся в Радзивилове трактам, за что те обязаны каждого проезжающего направлять к своим благодетелям, представляя их людьми, могущими обделать на таможне всякую штуку, и называя их не иначе, как “экспедиторами”. Человечество, падкое на обделыванье штук, хотя бы и самых бесполезных, лезет, как кур во щи, в руки гостеприимных сынов Израиля и расходует на выpravку надписей для переезда границы от трех до десяти рублей на паспорт. Из этого-то сбора платится жалованье смотрителям (от 5 р. до 12 р. сер. в месяц) и дается по 50 к. ямщику, который предаст проезжающего в цепкие лапки радзивиловского палестинского дворянина. Дело это разыгрывается здесь

как по нотам. Проезжающие кричат на обидительство их чиновниками, а их хозяева — факторы поддакивают, смеясь в душе над славянской простотою, не ведающею, что из десятка рублей, взятых на имя чиновников, на самом деле им едва перепадает одна десятая часть, а девять частей остается у рана gospodarza (хозяина), вздыхающего, вместе с постояльцем, о падении нравов в России. Зато хозяин даст гостю на козлы фактора, который, доехав до первой рогатки (заставы), говорит: “Покажите паспорт”, потом: “Дайте три злата” и т. п., пока окончит просьбою нескольких злотых уж собственно для своей персоны. У нас фактора не было, и мы выехали только с одним кучером, на лошадях, нанятых у Михола. У первой рогатки чиновник спросил наши фамилии, взглянул на паспорт и вежливо сказал: “Извольте ехать. Курить здесь нельзя, — шепнул он мне на ухо, — спрячьте пока сигару”. Я его поблагодарил за предостережение. Только что мы уселись на повозку, подошел человек полувоенного вида и остановился молча.

— Дайте ему полтинник, чтоб не смот-

рел, — сказал по-немецки кучер. Мы дали полтинник, досмотрщик взял его, поклонился и крикнул магическое: “подвись”. Проехав линию, по которой растянута цепь из солдат таможенной стражи, версты через две нас снова остановили перед какою-то мазанкою. Оттуда выскочил еврей и потребовал снова наши паспорта.

— А ему дайте полтинник, — сказал он, указывая на безмолвно стоящего ундера.

Мы дали полтинник, и еврей юркнул в мазанку. Через четверть часа он выскочил, махнул в воздухе документами, отворяющими нам двери Европы, и побежал к шлагбауму. Шлагбаум наш, русский, так недавно снят с городских въездов, что его все помнят и говорить о нем нечего. Австрийский шлагбаум построен по одинаковому фасону с российским и также выкрашен зигзагами, но не белой и черной краской, с красными разводками, а темно-желтой и черной краской, без всякой разноцветной разводки. Вид прескверный. Один шлагбаум от другого отстоит шага на три, и поднимаются и опускаются они оба разом. За желтым шлагбаумом стоит австрий-

ский часовой, в огромных сапогах, дающих ему вид тонконового аиста.

— Не имеете ли табаку? — спросил он нас тоненьким голоском.

— Имею, — отвечал я.

— Нельзя везти. Сколько у вас?

— Три сигары.

— Дайте ему два злота, — сказал по-польски еврей, держащий в руках наши паспорта. Мы дали.

— Дайте теперь полтинник за прописку паспортов.

— За какую же еще прописку? Уж их сегодня два раза прописывали.

— А! Нужно еще раз прописать на австрийской границе.

— Ну, у нас нет полтинника, — сказали мы, осмотревши свои портмоне, в которых не было ни одной мелкой монетки.

— Ну, как же быть? — спросил улыбаясь еврей.

— А черт их возьми; обойдутся и без взяток.

— Как можно! Как можно! Они вас до ночи не пустят.

— Пустят.

— Ей! Господа, дайте, — сказал наш кучер, — тут уж нечего разговаривать. Вчера полковник гвардейский так же вот закапризничал, так с 7 часов до 12-ти и продержали.

Что делать? Раздав всю мелочь соотечественникам, взямавшим с нас подать, мы уже были несостоятельны к подкупу иностранцев, во всем, по-видимому, солидарных с воинами, стоящими за черно-белым шлагбаумом.

— Подите, заручитесь за панов, — сказал находчивый еврей нашему извозчику.

— Я согласен, — ответил извозчик. — Хотите, паны, я заручусь, а вы мне отдадите в Бродах?

— Пожалуйста!

Ямщик с евреем пошли в “австрийскую контору” и через четверть часа вышли с нашими паспортами.

— Что ж теперь мне делать? — спросил еврей.

— Да кто же вас просил суетиться?

— Ну, как не хлопотать для панов?

— Что же вам делать?

— Дайте рейнского.[38] Ей-Богу, стоит.

— Мы вам пришлем с ямщиком 50 крейцеров.

— Ой, это мало.

— Больше не стоит.

— Как не стоит? Жену и детей кормлю с моей працы (труда). Дайте гульден.

Терпенье окончательно лопалось.

— Больше полурейнского ваша служба не стоит, — сказал я еврею и, обратясь к ямщику, — А вы, пожалуйста, поезжайте.

Ямщик тронул лошадей, а еврей, сняв шляпу, начал благодарить и желать “счастливого подрожья (пути)”. Я долго смотрел на его смешную фигуру, пока она смешалась с группой евреев, стоящих у желтого шлагбаума и переговаривающихся с евреями, стоящими за черно-белым шлагбаумом, не стесняясь присутствия часового, занимающего аршин пять нейтральной почвы между двумя рогатками.

От Радзивилова до Брод не будет, кажется, 15-ти верст, которые насчитываются людьми, нанимающими лошадей. Впрочем, для нас они промелькнули необыкновенно скоро, может быть, потому, что мы никак не

могли надивиться наглости, с которою здесь производятся мелкие поборы; никак не могли разобрать, с какою целью еврей-фактор советовал нам не иметь при себе писем; уверял, что нас обыщут до ниточки, потому что “вчера у графа К—го даже подкладку в сюртуке подпорали”. Ничего этого не было, а было то, что я записал, и нам жаль стало рекомендательных писем, которые мы пожгли в Радзивилове, предпочитая *auto da fe* необходимости отдать письмо не тому, кому оно писано. Все вышло, однако, ложною тревогою, за которую мы уж не знаем, кого обвинять. Для решения этого последнего вопроса было необходимо знать: достоверно ли сказание о вчерашних злоключениях графа К—го? Ямщик, с своей стороны, засвидетельствовал этот факт. Два свидетеля составляют целое юридическое доказательство, и я, сообразив обстоятельства настоящего дела и находя, с одной стороны, что вчера совершившийся факт с одним субъектом может сегодня совершиться с другим, а с другой стороны, видя себя изъятым от “трусенья” [39] по особому какому-то снисхождению и вниманию к полтиннику, мнением по-

ложил: хотя еврей и был виною пагубы писем, которые зарекомендовали бы меня очень почтенным людям; но, имея в виду, во-первых, предусмотрительность еврейской натуры, во-вторых, то, что показание, погубившее мои письма, сделано хотя и без присяги, но на основании очевидного факта, то еврея*** считать свободным от всякого обвинения, а дело сдать в архив моей памяти.

Вот они, Броды! — первое место полицейско-конституционного государства, благоденствующего под отеческим покровительством габсбургского дома. Шум, крик, движение, немножко грязновато, как вообще в торговых городах, но жизни так много, что людей на улицах как будто больше, чем габсбургских орлов, торчащих чуть не на каждом доме. Этот орел навешивается здесь над каждой лавочкой, где продается табак, составляющий правительственную регалию. Оттого город или, по крайней мере, его главные улицы и испещрены орлами, а тут еще почта, некое судилище, комиссар, тоже все под орлами; ну, и выходит картинка весьма художественная. Вывески уже по-немецки и по-польски; тра-

урные платья продолжают; на улицах слышен говор польский и немецкий, засыпаемый еврейским жаргоном; полиции нигде не видно.

Мы приехали в Броды в тот день, в который австрийское правительство подорвало репутацию книги, именуемой “Hendschel's Telegraph (Гендшелев телеграф)”. В этом сочинении, на странице 89, обозначено, что мальпосты из Брод в Лемберг отходят в семь часов вечером. Приехав около полудня, я тотчас же побежал за билетом.

— На завтра? — спросил меня чиновник, нимало не похожий на немца.

— Нет, на сегодня.

— Дилижанс ушел уже.

— А в семь часов вечером?

— Не пойдет.

— Как же вот тут напечатано... — полез было за немецкой книгой.

— Сегодня изменено.

— Так это в первый раз дилижанс отправился утром, а не вечером?

— В первый.

Вот тебе и раз. Вся моя надежда на сочине-

ние Гендшеля рухнула. Первый блин стал комом в горле.

— Что стоит пара лошадей до Львова?

— 24 австрийских гульдена.

— Да за повозку три рейнских, — отозвался по-польски другой чиновник.

— Итого двадцать семь?

— Двадцать семь.

У грязного подъезда Hôtel de Russie ожидали меня две еврейки в париках и странных головных уборах из жемчуга. Это “wekslarki” (менялки). Как ворон крови, они стерегут русского славянина на том пункте, где государственные кредитные билеты его отечества перестают быть ходячею монетою, деньгами или меновыми торговыми знаками, как любят у нас выражаться люди, слыхавшие о существовании “своекорыстной” науки, известной под именем “политической экономии”. Торг мы повели отчаянный. Я отстаивал цену русского бумажного рубля с большим патриотизмом и говорил с неподдельным жаром; но дочери Израилевы победили меня и за русский бумажный рубль дали по 1 гул<ьдену> 71 крейц<еру> австр<ийскому>, а за напо-

леондоры (20 фр<анков>) взяли по 5 р. 80 к. Красноречие не помогло; я обратился было к банкиру — еще хуже; так и разменял, как дали.

Только что ушли “wekslarki”, явился еврей в высокой шляпе, с предложением ехать в его карете до Львова. Карета покойная, лошади хорошие, цена сподручная (18 рейнских): решились ехать и потребовали обед. Вкусный обед с пивом обошелся по 85 крейцеров.[40] У нас, где хлеб вольный, дрова дешевле и мясо дешевле здешнего, за эту цену так не пообедаешь. Мечтаю спать в карете целую ночь.

Злочев, ночью с 14-го на 15-е октября.

Если бы с нами был знахарь, обирающий крестьян в селе Пузееве, состоящем в Кромском уезде Орловской губернии, то он бы поклялся небом, землею и преисподнею, что на нас напущено либо по воде, либо по ветру. Во-первых, в ту минуту, как мы подошли к карете, раздавая медные крейцеры окружившим нас нищим, подданным императора Франца-Иосифа, нам напомнили, что наши паспорта еще у комиссара, а комиссар пообедал и

лег спать. Привычка, конечно, очень похвальная для каждого немца, но весьма неудобная для проезжего, занесшего уже ногу в карету.

— И долго проспите ваш комиссар? — спросил я еврея.

— О... долго.

— А как?

— Часа три.

— А нельзя его разбудить?

— Как можно! Как можно!

Я решился на отчаянное средство: пошел к комиссару и умышленно завел громкий спор с немкой, доказывавшей мне протivoестественность моего требования относительно поднятия австрийского чиновника.

Результатом разговора, в котором я возвышал голос, по мере того как немка понижала свой, давая мне тем самым заметить, что я, как говорил Абдулин, “не по поступкам поступаю”, вышло такое “исполнение желаний”, которого не предскажет ни одна ворожея. Отворилась дверь, и сам комиссар, в колпаке и в халате, ткнул мне паспорта, проговорив желчно: “Берите, берите”. Евреи, окружавшие карету, приветствовали мое победное возвра-

щение таким милым голосом, с которым не может сравниться крик целой гусиной стаи, лежащей с вывихнутыми крыльями в ожидании, пока человеческая рука очертит кровавый рубец поперек длинной шеи. В карете ожидал новый сюрприз. На передней лавочке, насупротив моего уступчивого спутника, помещался какой-то узловатый немец, в желтой ермолке с козырьком. На шее у него был огромный вязаный шарф из зеленой шерсти.

— Кого это еще нам впаковали? — спросил я еврея, обязавшегося везти только нас двоих в карете.

— Это ничего, добрый человек, хороший человек.

— Да мы ведь вдвоем наняли карету.

— Ну, а что, третий мешает?

— Спать мешает, ноги протянуть мешает.

— Протянуть?

— Да.

— Зачем же их протягивать?

Нечего делать, уселись втроем. Только что тронулись — остановка. Евреи кричат, машут руками, ткают палками в воздухе, потом что-то зашумело сзади кареты, и мы тронулись.

Через полчаса снова остановка, снова крик, движение на запятках, и снова тронулись. Через десять минут остановка, и еврей-кучер полез с козел платить за шоссе, а через другие десять минут мы остановились перед домом очень гнусного вида. Рядом с нами стояла повозка, запряженная двумя лошадьми в краковских хомутах. Пассажиры, мужчина лет сорока и довольно красивая женщина с ребенком на руках, стояли возле, а австрийский солдат, в сером мундире с зеленым воротником, пырлял железным щупом во все стороны пустого экипажа. Австрийский щуп ни видом, ни достоинством не отличается от щупа, предъявляемого проезжающему слугами русских питейных откупов.

— Извольте выйти, — сказал нам австрийский воин, окончив зондирование краковской повозки.

Мы вышли.

— Пожалуйста к комиссару наверх.

— Зачем?

— Так нужно.

— Да зачем же?

— Идите, — вполголоса сказал наш фур-

ман.

Мы, однако, не пошли.

— Так стаскивай вещи, — закричал солдат. Несколько евреев выскочили, как из земли, и потащили наши чемоданы. Вышел комиссар; потребовали ключей, и начался досмотр. В моем чемодане нашли словарь, избранные стихотворения Гейне и небольшую тетрадку с напечатанными сочинениями русских и польских писателей. Вертели, шептались и положили назад. У немца нашли два законопреступных мешка с табачными семенами и долго думали, подлежат ли они конфискации. Карету осмотрели до последнего уголка и даже не пощадили сумки, которая висела у меня на плече. Дул сильный ветер и заносил капли дождя на платформу, где перетряхивали наши чемоданчики. Досада и злость, какой я никогда не испытывал, просто душила меня, а досмотр все продолжался. Когда взялись за мою сумку, то я вышел из себя. Как-то особенно гадко, когда чувствуешь прикосновение полицейской руки, которую нельзя оттолкнуть от себя. Бессильная злоба мучительна.

— Не знаете, где искать, — сказал я австрийскому вахмистру.

— Где же? — спросил он очень серьезно.

— А уж это не ваше дело.

— Милостивый государь, здесь не шутят! — важно заметил вахмистр.

— Я и не думаю с вами шутить, милостивый государь мой! — Вахмистр опять озлобленно бросился к пустым ящикам кареты. Из трех ящичков один был заперт, а ключ, как водится, потерян; разломали крышку и ничего не нашли.

— Как они не изобретут еще машинки, чтобы смотреть в мозги человеческие? — сказал мне мой товарищ по-польски.

— Мозги ваши знают, не беспокойтесь, — ответил вахмистр, чистым польским языком.

— А, так вы поляк?

— К услугам вашим, — отвечал вахмистр, иронически улыбаясь и прикладывая руку к своему австрийскому колпаку.

— Поздравляем.

— Что ж нам-то.

— Кому?

— Нам, — говорил еврей, потрошивший

наш чемодан, указывая на сотрудников по этой операции.

— За что?

— Что досматривали.

Нет, это уж выше человеческих сил. Христос, идеал человеческого совершенства, заповедал нам прощать людям оскорбления, не мстить им и молиться за них; но платить трудовые деньги за получаемые пощечины, за обыск, сравнивающий честного гражданина с вором, — нет, это уж через край много.

— Получайте, друзья мои, от тех, кому нужна ваша служба.

За шоссе здесь платится особо, за каждые две мили. Это многим не нравится, потому что каждые две мили (14 верст) приходится расплачиваться, но зато это удобно в другом отношении. Во-первых, у нас человек очень часто платит за 200 верст шоссе, по которому он не проехал и 20-ти. Так, например, во всякую мою поездку домой я еду по курскому шоссе 17 верст, а с меня требуют за все расстояние от Кром до Фатежа, и понеже сие обходится очень дорого, то изобретен очень удобный “фортель”, состоящий в том, что часовой

му, вместе с подорожною, вручается двугривенный, и он кричит: “Казенна! Подвись!” Отсюда шоссе не приносит казне тех выгод, которые оно должно приносить, и отсюда же место начальника шоссейной заставы, например, между Орлом и Москвою, считается золотым дном. Одна из моих милых спутниц, состоящая, по собственному ее выражению, “в расстройстве с мужем”, уверяла, что ее брат, заведывающий одною из застав на орловско-московском шоссе, получает в год “5000 рублей серебром безгрешного дохода”. Я видел сам эти доходы в другом месте и аналогически допускаю возможность цифры, определенной дамою, состоящею “в расстройстве с мужем”. В Австрии, по-моему, это дело ведется лучше и для казны, и для народа, и я от всего сердца порадовался бы, если бы наши шоссейные сборы сдали в аренду мелкими участками, например по 15–30 верст. Все эти офицеры, все эти солдаты, содействующие переходу казенных доходов в карманы чиновников, занялись бы делом, а казна, при помощи конкуренции, узнала бы настоящую цифру доходов, которые могут ей дать выстроенные

шоссе. Народу, едущему по дорогам, легче, а казне и легче, и доходнее. Прижимок же тут никаких быть не может, потому что это не питейный откуп: участки растянуть нельзя, и цены выше установленной никто не даст; но, несмотря на то, предприимчивые люди найдут еще хороший заработок из сумм, похищаемых нынче у казны систематическим плутовством на русских шоссейных заставах.

В Злочев мы приехали уже при огнях. При огне Злочев смотрит довольно живо и весело. Выходя из кареты, мы увидели, что сзади экипажа у нас сидят два еврея. Это пассажиры, взятые фурманом в минуты остановок во время выезда из Брод. Таким образом, сдав карету нам двоим, фурман везет пятерых, из которых один сидит у нас на носу, мешает протянуть ноги и наслаждаться беседою без немецкого свидетеля.

— Зачем вы насаживаете людей на зад? — спросил мой товарищ еврея.

— Разве они вам мешают?

— Лишняя тяжесть; мы хотим ехать скорее, а не тащиться в карете с шестью седоками на тройке.

— Не беспокойтесь, я здесь возьму четвертую лошадь.

— Хорошо, если это будет правда.

— Ей-богу.

— Ну, посмотрим.

Пошли в пивную (Bier-Halle). Там долго слушали разговор австрийского офицера с польским паном и чиновником из поляков. Разговор не касался материй очень важных. Польский пан дрессировал черного кобеля, а польский чиновник, глядя на ученые труды пана, рассуждал о достоинстве собачьих пород вообще, а австрийских и польских в особенности. Вспоминали даже и про русских собак, но мне кажется, что не отдавали им должной справедливости. Я, впрочем, в собаках ничего не понимаю, и Ноздрев непременно обозвал бы меня малопристойным именем “фетюка”. Но мой спутник, зараженный поэтическим недугом, не стесняясь незнанием дела, о котором шла речь, написал на моей старой подорожной:

*Choćbyś pojechał aż na świata kres,
Jednaka cnota i cena jednaka:
Czy Hund niemiecki, czy russka*

sobaka,
Czy polski pies.

(Злочów, 14 października. 1862)[41]

Я с ним не спорил и в простоте души моей думаю, что он совершенно прав.

Было еще рано; еврей и не думал запрягать лошадей, а хотелось где-нибудь хоть какую попало газетку. Оказалось, что недалеко есть польская ресторация, получающая какую-то львовскую газету. Заказав себе ужин, засели читать, что делается на белом свете, в стороне от дороги между Злочевым и Радзивиловым.

А что это за народ евреи! Мы выехали едва в половине третьего и не поглядели, на чем мы едем. Утром у корчмы оказалось, что четвертой лошади наш фурман не запряг, но зато посадил еще двух еврейчиков, одного сзади, а другого с собою на козлы. Что за привычка надувать на каждом шагу! Точно, как ярославские извозчики.

15-го октября, Львов.

Дорога к Львову становится хуже, но зато виды великолепные. У нас таких, кажется, не достанешь. Чистенькие домики с балкончи-

ками и резными фронтонами; горы, лески и внизу широкие долинки. Что твоя Швейцария! Мы проснулись очень рано; карета съехала с довольно крутой горы; немец наш спал, а евреи шли пешком. Мы тоже встали и пошли. Спускаясь помаленьку, мы поравнялись с кучкою крестьянок, которые шли, весело болтая между собою.

— По-нашему говорят, — сказала одна из них, когда мы подходили к группе, я читал моему товарищу одно место из стихов Шевченки. Женщины оглянулись на нас и сказали: “Добрый день панам!”

— Добрый день, — отвечали мы, обгоняя крестьянок.

В город мы въехали около 11-ти часов. День был сумрачный, и моросил мелкий дождик. Долго ездили по различным отелям и ни в одном не могли найти трех номеров разом; наконец, в одном отеле сбыли своего немца, а сами отправились далее. Двух номеров тоже нигде не было, и фурман повез нас в какой-то тарнопольский заездный дом. Здесь оказалось очень много свободных номеров, но все они столь грязны, что не было никакой воз-

возможности в них остановиться. Слуга, из евреев, все уговаривал нас остаться, вычисляя различные выгоды квартирования; однако мы не прельстились этими выгодами, сели в свою карету и велели везти себя опять на улицу короля Лудвика, решившись разместиться порознь в двух соседних отелях. Садясь в экипаж, я хотел взглянуть на часы и остолбенел... Часовой шнурок мой был перерезан, и золотого ключика уже не было. Со страхом я хватился за карман, где лежали мои часы: они были целы. Спасением моих часов я, очевидно, был обязан тому, что жилет очень крепко был стянут сзади и не позволял их вытащить. Около нас, под воротами, стояла густая толпа молодых еврейчиков весьма подозрительного вида. Когда я показал лакею и нашему кучеру обрезанный шнурок от моих часов, ни лакеи, ни кучер, ни евреи не сказали ни слова. Толковать было нечего.

На улице короля Лудвика нашли, наконец, два номера в гостинице Куна. Номера темные, грязные и страшно сырые, стоят по одному гульдену. Недорого и скверно. Ни чернильницы, ни воды, ни необходимой посуды. Разо-

бравшись кое-как, я крикнул фактора и послал его с моим билетиком в редакцию “Слова”, органа галицийских русинов, поручив ему узнать адрес редактора и спросить, когда я могу его видеть. Фактор возвратился с бумажкой, на которой было написано русской скорописью: “Во всяком часе дома № 3-й поверх”. Пообедав, в четыре часа я отправился по адресу. Редактор “Слова”, г. Богдан Дедицкий, живет не так, как живут большинство петербургских редакторов. Он занимает комнату в квартире одного униатского священника. Я застал его за работою; он правил корректуру первой книжки журнала “Галичанин”, который скоро станет выходить во Львове, четырьмя выпусками в год. Богдан Дедицкий принял меня очень радушно. Назвал двух русских (или, как здесь говорят, “россиян”), с которыми он познакомился во Львове: это были г. Барсов и киевский профессор Цехановецкий. Расспросам о России, о наших порядках, о нашей свободе, о положении литературы не было конца. Через полчаса пришел один из сотрудников “Слова”, г. Лесикевич, а через несколько минут другой, свя-

ценник Петрушкевич. Расспросы возобновились снова, и не раз ставили меня в весьма затруднительное и неловкое положение. Дорожа истиной, я не раз должен был противоречить моим новым знакомым, сильно заинтересованным русскими вопросами, но имеющим о многом самое превратное понятие. Текущая русская литература здесь почти неизвестна, и кроме “Дня”, “Основы” да “Журнала мин<истерства> народн<ого> просвещения” редакция львовского “Слова” не получает ни одного русского периодического издания, потому что выписка их обходится очень дорого, а обмениваться нет способов. “Правительство, — говорят они, — берет у нас несколько экземпляров для России; но кому идут эти экземпляры — мы даже и не знаем”. Жалуются на “Современник” за то, что он отказал в сочувствии их народным стремлениям. “Современник” здесь не получается, но статьи, касающиеся интересов русинов, им известны, вероятно, чрез корреспондентов из России. “Днем” русины очень довольны. “Основу” здесь любят, но во многом с ней расходятся, находя, что она не так ставит вопрос о рус-

ской (в смысле малороссийской) народности, дробит его, подвергает самовольным рассортировкам и обижает русинов, называя их литературу “русинскою”, их дела “русинскими”, тогда как они не употребляют этих прилагательных, а все свои интересы называют “русскими”. “У нас, — говорят они, — нет прилагательного “русинский”, и кто его употребляет, тот или умышленно отделяет нас от русского (не разумея здесь российского) народа, или не знает русской грамматики”. Не знаю, как смотрят на это дело в “Основе”. “Журналом министерства народного просвещения” русины ужасно недовольны; оно и понятно. Им, как рассказали мне Дедицкий и Петрушкевич, желалось иметь критико-библиографической отчет о текущей русской литературе. Из титула “Журнала министерства народного просвещения” они заключили, что там непременно должен быть такой отчет, и выписали это издание, обходящееся им довольно дорого; но в нем, разумеется, не нашли, чего искали, и сердятся. Я знаю, как обидно подобное разочарование, и потому вполне им сочувствую. Сидя в лесной глуши Пензенской гу-

бернии, я вычитал в газетах объявление о вышедшем “Курсе пиротехнии”, а в ту пору я страдал болезнью известного пана Заблоцкого

*Co to z wielkiej rachuby
Mydłem przyszedł do zguby.*

Не удовлетворяли меня печи, которые умеют класть русские печники: дров горит много, а жара мало. У немцев же, говорят, паровые печи не в пример лучше наших... а тут “Курс пиротехнии”, сочиненный немцем. “Выпишу, — думаю себе, — эту книгу, и покажу, что значит настоящая печь”. Ведомо, что

*My ze swym lemieszem
Na cudzą niwę śpieszym,
Naśladowuje chęć płocho,
To Francuza, to Włocha,
A jak ludzi nie stanie
To choć Niemca tospanie.*

Выписал книжку; жду ее с нетерпением. Что же? Привозят тоненькую брошюрку, на которой крупным шрифтом напечатано: “Руководство к пиротехнии”, а пониже мелко-мелко: “или искусство готовить фей-

ерверки... ” Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! А тут еще соседи с расспросами: что? да как? Дернуло же меня наобещать сведений о пиротехнии, на основании опубликованного “руководства”! А может быть, и львовское “Слово” надеялось знакомить своих читателей с российской литературою по “Журналу министерства народного просвещения”... И вышло оно, как я на “искусстве делать фейерверки” или как Заблоцкий на мыле! О! Они могут верить моему сочувствию, ибо *similis similia gaudet* (подобное подобному радуется). Посоветовал им выписать “Книжный вестник”, издаваемый Сеньковским в Петербурге. Для их целей это гораздо пригоднее и дешевле, без всякого сравнения.

Пока я посидел у Дедицкого, у него собралось несколько человек русинов, и я познакомился почти со всеми главными сотрудниками львовского “Слова”. Вечером все мы вместе долго ходили по бульвару. Священник Антоний Петрушкевич человек необыкновенно светлый и симпатичный. Он старается самым беспристрастным образом смотреть на деяния современных славянских партий в Ав-

стрии; сам же ни в какие политические споры не вдается, а занимается составлением корнеслова русского языка и историею. Я, однако, никак не привыкну к священникам без бород и одетым в сюртуки. Здешние греко-католические священники ни внешнею, ни внутреннею стороною не похожи на наших. Во-первых, они одеты, как одеваются все люди в Европе, и ничем наружным от мира людского не рознятся. Во-вторых, все они прекрасно образованы; каждый из них непременно окончил университетский курс, знает европейские языки, а некоторые даже имеют медицинские степени. Так, например, отец Владимир Терлецкий, живой, энергический человек, известный путешественник и писатель, имеет степень доктора медицины. Священники же здесь занимают такие места, на которых мы не привыкли видеть духовные лица, да и не можем их видеть на этих местах. А здесь, например, кафедру русской литературы во Львовском университете занимает священник Головацкий (известный исторический писатель); священники Цланицкий и Полянский служат директорами гимназий.

А учителей и считать нечего. Гимназические преподаватели почти на половину из русских священников. Я познакомился с отцом Владимиром Терлецким, с Головацким и др., и знакомство это мне всегда будет милым и памятным. Если бы либералы, упрекающие “Слово” в “поповстве”, видели львовских представителей этого поповства, стоящих за народные интересы перед немецкой властью и перед Римом, в который на них летят доносы от либералов, навязывающих русинам свою народность и веру, то они поняли бы, что не бестактно идти “с попами”, а бестактно болтать вздор о людях, положение которых нам вовсе неизвестно. Положение русинов в Галиции весьма странное. Они не считают себя ни поляками, ни немцами, и стоит только взглянуть на все население Галиции и припомнить исторические судьбы этой страны, чтобы никогда снова не поднимать спорного вопроса о народности восточной Галиции. Население это говорит чистым малороссийским языком и молится по греческому обряду. Такого населения в восточной Галиции около 2800000 душ. Оно принадлежит к сословию

сельскому; живет на землях владевших ими, по крепостному праву, помещиков происхождения польского и управляется чиновниками из поляков, служащими австрийскому правительству. Русское население восточной Галиции определяется двумя словами: “поп и хлоп”; польское — панство и чиновничество; немецкое — чиновничество. В городах, разумеется, деление это мешается; но, во всяком случае, остается несомненным, что 2800000 русских в восточной Галиции есть земледельцы, во главе которых стоит греко-униатское духовенство, а полтора миллиона поляков — помещики, чиновники, ученые и воины, т. е. австрийские офицеры. Поляки, как старинные господа русского человека в Галиции и на Украине, очень недовольны, что русские не хотят теперь считать себя поляками и называют себя особым племенем, раскинутым от западной Галиции до самого Черного моря. Пробуждение к сознанию русской народности в восточной Галиции началось с 1846 года, когда в западной Галиции польские крестьяне отделались от своих помещиков, искавших у австрийского правительства защи-

ты. В 1848 году русины (никого не резав во время мазурской резни) уже основали во Львове свою газету — “Зоря Галицка”. Газета эта редактировалась г. Павенцким и печаталась церковнославянским шрифтом. “Зоря Галицка” прекратилась, стало выходить “Слово”, встречающее себе сильных противников в двух самых либеральных и популярных органах польских. “Gazeta Narodowa” во Львове и “Czas” в Кракове не хотят признать русского элемента в галицийских русинах и в своих статьях не называют русскую партию иначе, как “схизматики”, “świetojurcy” (святоюрцы), издеваются над их стремлениями к восстановлению народности и печатают указания на симпатии русинов народу российскому. Я не хотел верить последнему обстоятельству, и этому трудно поверить человеку, знакомому с великорусскою литературою, где даже о Блонденах говорить не легко, а не только открыть чью бы то ни было симпатию. Но это, однако, не так. “Gazeta Narodowa”, “Czas” и “Kuźnia” (сатирическая газета с карикатурами) без всякой церемонии пишут, что “святоюрцы сделали то-то и то-то, в чем выража-

ется сочувствие Москве и москалям”. Австрийское правительство, замирающее от страха при одной мысли о готовности галицийских русинов соединиться с народом русским, идет по указаниям либеральных польских органов и запрещает здешним русинам даже называть друг друга по имени и отчеству. Русины уничтожают в своем богослужении звонки, клянчанье перед алтарем и другие обряды, введенные в греческое богослужение римским духовенством; польское духовенство посылает на это доносы папе, а газеты печатают громкие статьи против “схизмы”. Передо мною “Gazeta Narodowa” (dodatek do № 60[42]), “Czas”, “Kuźnia” (№ 10 и 11) и “Dziennik Literacki”, и в каждом листке этих изданий есть милые выходки против русинов. Выходки эти такого сорта, что у нас они просто немыслимы. В статье “Niespodziewany zwrót tendencji “Stowa”” (Неожиданный поворот тенденции “Слова”) (см. “Czas. Narodowa” № 60 dodatek) прямо сказано, что “partja świętojurców” должна сознаться, что ее “praca idzie na korzyść Rosji” (труды ее служат пользе России). Ну и “Слово” уж, разумеется, где мо-

жет, не остается в долгу и ругает поляков. Свалка между ними идет постоянная, и австрийское правительство тешится ею так, что аж брюшко у него потряхивается от радости. Да и как не радоваться, когда одна половина славян, забранных немцами, говорит: “Нам немец лучше, як лях”, а другая глаголет: “Не хотите считать себя поляками, так не быть вам ничем”, и в этих соображениях пишет то доносы на русинов, то ругается с ними и оскорбляет их народность. Читая самую “Kuźnia”, невольно вспоминаешь Сквозника-Дмухановского, и крепко хочется сказать этим бестолковым острякам: “Над кем смее-тесь? Над собой смеетесь!..”

*В огороді ж мудрый нимиц
Картопельку садит,
А вы ее купуете...
Еште на здрове.*

Какие ж из этого побоища австрийских славян выходят результаты? А результаты налицо. Когда либеральное австрийское правительство в силу новой конституции (“февральского патента”) собрало депутатов 100 человек от 1 1/2 миллиона поляков и 50 человек

от 2800000 русинов, то русины не выбрали ни одного поляка, а послали от себя на сейм священников или крестьян, и на самом сейме, в виду австрийского правительства, началась славянская схватка. На самом сеймовом собрании депутат селянин Данилевский, обратясь к депутатам польским, сказал: “Вы, паны, хотите згоди з нами, хлопами! Буде згода, но звернить щось те забрали. Мы вашего не хотим, але отдайте наше”, и пр., и сел. Правая сторона хранила гробовое молчание, и даже либеральное австрийское правительство, отраванное (спасенное) в 1848 году русскою кровью и нынче весело смотрящее, как австрийские газеты глумятся над нами, поносят целый народ, отказывая ему даже в человеческом смысле, даже оно распорядилось выпустить речь Данилевского из стенографических сеймовых записей.

—

Сегодня утром в 9 часов ко мне явился молодой человек, Гутовский. Его прислал редактор “Слова” для того, чтобы проводить меня в университет, где в первый раз будут читаться две пробные лекции на малороссийском языке.

ке. Я достал круглую петербургскую шляпу и отправился в университет пешком. По мере приближения к университету все чаще и чаще встречались густые толпы молодежи, в конфедератках, чемарках, подпоясанных широкими лакированными поясами с бляхами и пряжками, на которых изображены Собеский, Косцюшко и другие великие люди Польши. Попадаются группы людей, одетых в малороссийские казачки, с смушковыми высокими шапками и с красными мотылями поверх шапки. Пробные лекции читали доктор Емельян Лотушаньский и доктор Владислав Сроковский. Сначала обе лекции были прочитаны по-немецки, а затем по-малороссийски, или, как здесь хотят говорить, “по-русски”. Обе лекции имели своим предметом право. Из них лекция г. Сроковского мне понравилась гораздо больше.

Пока пробные лекции излагались по-немецки, аудитория была так полна, что множество слушателей стояли; но как только доктор Сроковский окончил чтение своей лекции по-немецки и доктор Лотушаньский, взойдя второй раз на кафедру, начал изложе-

ние своей лекции по-русски, масса слушателей в чемарках и широких поясах быстро встала и пошла к двери. В массе слушателей, одетых в малороссийские казакины, пробежал глухой ропот неудовольствия. Однако довольно чемарок остались на своих местах и, видимо, не симпатизировали нелепой демонстрации своих товарищей. После я узнал, что многие польские студенты очень скорбели о заявленном их товарищами факте бестолковой нетерпимости. Но грустный факт, однако, совершился. Мой товарищ, человек весьма благородный, просвещенный и толерантный, старается во всем найти что-нибудь в оправдание поляков, дерущихся с русинами для немецкой потехи, но порою это ему бывает очень трудно. Нельзя всего изъяснить независимо от нас обстоятельствами...

*Wiesz co panie Jakubie?
Ja tych żalów nie lubię!
To już nasza natura,
Ze gdzie człowiek nie wskóra,
Zaraz krzyki, hałasy:
Winien pan Bóg, złe czasy,
Albo ludzka w tém winą,*

*Lub feralna gobzina...
Ej ty panie Jakubie
Sami winni swój zgubie.*

Потолковав, мы согласились, что действительно ты, panie Jakubie,

Sami winni swój zgubie.[43]

На мою шляпу, или “цилиндр”, как их называют, поляки все косятся. В кафе даже отпускали каламбуры насчет “цилиндрованных”, а на пороге одна венгерка сильно толкнула меня локтем. Я сказал толкнувшей меня венгерке по-польски “извините”. Венгерка саркастически отвечала по-польски же: “Берегите цилиндр, а то ветер сдует”. “Цилиндр” очевидно становился неудобным для хождения по Львову, а еще впереди предстоят Краков и Прага, где цилиндры также не в почете. Раздумье взяло, какую наложить на себя сбрую? Конфедератку купить? Во-первых, я не поляк, а во-вторых, в ней нельзя будет ходить в Варшаве. Полукивер, в каких ходят русины?.. С какой же стати! Осмотрев пять или шесть магазинов, я, наконец, остановился на суконной гарибальдийской шляпе и купил ее

за 4 рейнских 50 крейцеров. Это покрывало самая нейтральная. Последствия показали, что я в этой шляпе нашел чистое сокровище. Мальчик из книжного магазина, где я взял несколько русских лейпцигских изданий, принес мою покупку, отдал ее швейцару, поручив доставить Włoschi (итальянцу). С этой поры я так и пошел за итальянца. Это очень удобно в стране, где не симпатизируют моей благословенной Орловской губернии. Перед вечером я отправился в книжную лавку г. Дедицкого и там застал священника Терлецкого, профессора Головацкого и много других русинов. Знакомятся здесь необыкновенно скоро и бесцеремонно. Не успеешь пожать руку новому знакомому и сказать свое имя, как впадаешь в разговор такого содержания, какого не поведешь у нас с новым знакомым. В книжной русской лавке книг довольно, но выбор весьма неразнообразен. Впрочем, есть сочинения исторические и путешествия. Из ученых львовских писателей наиболее известны здесь своими трудами: профессор университета и священник Головацкий, Петрушкевич и Терлицкий. Они и теперь заняты ка-

питательными работами, из которых корнеслов русского языка будет дорогим приобретением для русской литературы. Молодежь занимается более беллетристикой, с достоинствами которой я не успел познакомиться и знаю только, что в ней нет дел особенно крупных и многотомных и что повествователи и поэты львовские стараются изображать в своих произведениях тот класс общества, который у нас, с некоторого времени, исключительно называют “народом”. Здесь это совершенно понятно, ибо весь русский народ, отстаиваемый львовскою русскою литературою, есть поселяне.

Гг. Головацкий, Терлецкий и Лесеневич были столь любезны, что пригласили меня в свое “русское казино”, где я, в течение одного же вечера, перезнакомился со всеми более или менее крупными личностями русской партии. Немцев и поляков здесь не бывает; казино помещается в “народном русском доме”. Дом этот — здание очень большое, но часть его еще не отделана. Казино занимает всего две комнаты с передней, но комнаты довольно просторные, хорошо меблированные

и освещенные газом. В главной комнате, на самом парадном месте, где в некоторых странах обыкновенно вешаются портреты Наполеонов да Фердинандов, висит в вызолоченной рамке портрет Тараса Григорьевича Шевченки. “Любей кобзарь Украины” здесь еще в большем, кажется, почете, чем у нас в Малороссии и Украине. Любовь к нему лично так велика, что во имя ее даже отрицается возможность критического разбора его сочинений. Молодежь самым серьезным образом утверждает, что “Шевченко выше всех поэтов”. Едва-едва уступили мне Гомера, но лучших из славянских поэтов так и оставили позади Шевченка. Покойник рассердился бы, если бы ему в глаза сказать, что он не только безгранично выше Некрасова, Сырокомли, Гавличка и Кольцова, но что и Пушкин, и Мицкевич, и Лермонтов при нем отодвигаются на второй план. Если бы это было сказано в Петербурге или в Варшаве, то слушатели сделали бы о говорящем весьма страшное и не совсем выгодное заключение; но во Львове такой взгляд всем русинам кажется очень натуральным, и они не могут понять, отчего

“Катерина” Шевченки не может быть поставлена выше “Ромео и Джульетты” Шекспира. “Ведь он (т. е. Шевченко) мировой поэт!” — восклицают горячие русины. Впрочем, в этом пристрастии их и упрекать нельзя, ибо, с одной стороны, оно проистекает из пламенной любви к родине, а с другой... мне кажется, что самые горячие из строителей мирового пьедестала для Шевченки едва ли имеют основательные понятия о поэтах, с которыми его сравнивают. Разумеется, славянину не делает чести незнание лучших славянских поэтов; но замечательно, что мы, русские, правда очень мало знакомы с литературою западных славян, а есть на западе славяне, еще менее знакомые с нашею литературою. Мне случилось замечать это в польском и малороссийском обществе. У нас еще встречаются люди, которые знают наизусть несколько строф из Мицкевича, Сырокомли и Шевченки; но никогда не случалось мне услышать из уст поляка или малоросса ни одной строфы наших поэтов. Конечно, я не говорю об исключениях, которые есть всегда и во всем, а вообще, мне кажется, что я не ошибаюсь в моем замеча-

нии. Что этому за причина? По крайней мере, что тут стоит впереди прочего: народная гордость или народные усобицы? Кажется, и то, и другое вместе. У поляков к этому еще нужно прибавить непреоборимую ненависть к кириллице, а у русинов такую же исключительную любовь ко всему своему, что они с этой любовью невольно напоминают кавалерийского рекрута, который, желая ловко вскочить на лошадь, употребляет в своем прыжке столько силы, что совсем перескакивает через седло. Впрочем, в вопросе о любви к отечеству и к отечественному, я многого не могу понимать так, как понимают эти вещи поляки, претендующие на право владения русинами, которые не хотят иметь их своими покровителями, а еще менее, как понимают их некоторые из русинов, входящих теперь в период пережитого нами “квасного патриотизма”, мечтающего о невозможной замкнутости своего рода и идеализирующего эпохи кровавых распрь, пережитых их предками.

*Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные*

*преданья
Не шевелят во мне отрадного
мечтанья.*

Да и не хотелось бы думать, что человечество вечно будет ставить привязанность к стране выше мировой идеи, выше справедливости и уважения к человеческому праву. От львовских либералов и патриотов мне удалось услышать такие вещи, каких я не слышал с тех пор, как учитель русской словесности изъяснял нам разные стороны стихотворения Пушкина “Клеветникам России”. Непонятно мне это стремление претендовать на владение подвластными Австрии и России малороссиянами, по праву давнего владения. Что за народная кабала! Непонятны и желания другой стороны, в которых нельзя не заметить скрытой мысли: “было бы нам хорошо, а там — что нам за дело”. Мы, слава Богу, по крайней мере, в литературе ушли подальше и выходок, позволяемых себе польскими газетами против русского народа, не позволяем. У нас архитектора какого-нибудь со света сживут за то, что он побьет извозчика, — и, разумеется, поделом и вору мука, а в № 82

“Dziennika Literackiego” (стран. 653-я) литератор сам оповещает миру, как “его рука, вспомнив теорию Месмера, сошлась с рыжею бородою смелого жида, сказавшего ему, что он не пан”. И это находят очень милым!

Казино русское управляется очень хорошо. Прислуга вежливая, стол дешевый, пиво прекрасное. Беседа идет самая смелая и живая; никого ни в чем не подозревают и не боятся говорить все, что есть на сердце. Преобладающая тема разговора — народные интересы и ратование за них, против немцев и поляков. Немцев вовсе не боятся: “они нас теперь не стерманизируют уж”, — говорят; но очень остерегаются поляков, которые то печатают доносы на симпатии русинов “московскому народу”, чего страшно боится правительство австрийское, то доносят папе о возвращении униатского духовенства к обрядам восточной церкви. Больше, впрочем, и бояться здешней русской партии нечего. Она может писать и пишет довольно свободно. Предварительной цензуры в Австрии нет, а вопросы, к которым придирается правительство после выпуска газет, поставлены довольно ясно. В делах

внешней политики славянские газеты в Австрии свободны, так же, как и в Пруссии. Краковский “Czas”, львовская “Gazeta Narodowa” и “Kuźnia” пользуются этим правом по горло, и в особенности усердствуют при рассмотрении вопросов, в которых интересы польской народности совпадают с распоряжениями прусского и русского правительства. Польские газеты, выходящие в Пруссии (как, например, “Dziennik Poznański”), снова уж не церемонятся ни с австрийским, ни с русским правительством, и молчат зато о своем. Словом, на соседей и у австрийских, и у прусских польских литераторов руки совершенно развязаны, и они ругаются весьма изрядно. Варшавские же газеты, получаемые во Львове, не беспокоят ни Австрию, ни Пруссию. Австрийцы до такой степени преисполнены лестного доверия к благонамеренности нашей русской и польской журналистики, что даже не просматривают на границе проходящих из России и Царства Польского книг и газет, открывая, тем самым, широкий доступ нашему либерализму в пределы конституционной австрийской монархии. Произведения русской

прессы продаются открыто, и я не успел повернуться в магазине, как уже разорился на 23 гульдена. Между новыми произведениями русских писателей есть очень много вещей, даже о существовании которых у нас ничего неизвестно; но должно сознаться, что далеко не все они стоят денег, которые за них лупит г. Вольфганг Гергард. Цены все самые почтенные и даже невероятные в сравнении с ценами книгам польским, а особенно немецким и французским.

О самом городе Львове не знаю, что сказать. Он очень чист, оживлен массами беспрестанно движущегося народа, освещен газом, и жизнь в нем дешевле, чем в любом из русских городов соответственной величины. Порядки несколько непохожи на наши; так, например, здесь все курят на улицах, и австрийских солдат постоянно встречаешь с сигарами в зубах. Полиции незаметно; но уличных сцен, требующих полицейского участия, я не видал. Женщины еще в трауре, но костюмы мужчин непозволительно разнообразны: венгерки, чемарки, пояса с портретами, шапки с кутасами (кистями) и т. п. Вообще ав-

стрийское правительство не преувеличивает значения национальных уборов и, кажется, вовсе не обращает на них никакого внимания. Кофейни здесь очень хороши и постоянно полны народом. В кофейнях же назначаются свидания.

— В какой вы будете кофейне в 4 часа? — спросил меня г. С—ий, вызвавшийся снабдить меня письмами в Краков и Прагу. Вопрос этот был сделан так, как будто всякий человек в 4 часа непременно должен попасть в какую-нибудь кофейню. В венской кофейне я был свидетелем самого жаркого спора между одним поляком и русином: они доказывали друг другу свои народные права и спорили о мерах противодействия немцам. Около нас со всех сторон сидели люди, Бог весть откуда, а в двух шагах играли на бильярде австрийские офицеры, и никто не обращал внимания на спор двух дипломатов. А спор был такой ожесточенный и искренний, что я снова вспомнил и пана Заблоцкого, и мою покойную бабушку Акулину Васильевну. Старушка, дожив без малого до ста годочков, была преисполнена доверием к непобедимости русского

воинства и к необычайной силе русских вождей. В пафосе, охватывающем старушку, когда заходила речь о памятном ей 1812 годе, она не замечала, что шаловливые внуки и внучки (в числе 27-ми человек мужеского и женского пола) позволяли себе нарочно оспаривать всем известные события, и всегда, как неопровержимое доказательство, что у нас полководцы — богатыри, скажет бывало: “Да что вы, поросята! В двенадцатом году был полковник один — и не один он такой, может быть, был, а я только об одном о нем знаю — так какая у него была сила: сидит он на коне и полком командует, а откуда ни возмись два офицерики, один французский, а другой немецкий, выхватили шпажонки, да и катят прямо на полковника. Полковые было хотели, как там следует, отразить их, но полковнк не велел. “Не надо, говорит, не троньте. Пусть, говорит, подъедут”. А как офицерики те подъехали, он не стал их рубить саблей, а протянул руки, схватил их обоих за волосы, поднял с седел, да лоб об лоб стукнул и бросил на стороны”. Бог его знает, почему мне этот невероятный рассказ покойной старушки приходит

В голову, когда я слушаю галицийские споры, и представляется мне вдали какой-то огромный, чудовищный не то полковник, не то вахмистр, в белом мундире, с желтой перевязью. Сидит он, будто бы, на уродливом пегом коне, у которого все части тела одна другой не соответствуют, и протягивает свои страшные лапы к задорным патриотам. Слышится мне стук польского лба о лоб русина, и затем:

*I długo, i daleko, słychać kopyt
brzmienie:*

*Bo na obszernych polach rozległe
milczenie;*

*Ani wesoł ej szlachty, ni rycerstwa
głosy,*

*Tylko wiatr szumi smutnie uginając
kłosy;*

*Tylko z mogił westchnienia i tych jęk
spod trawy,*

*Co śpią na zwiędłych wieńcach swojej
starej sławy.[44]*

О католичество! О теория польского панования по какому-то праву! О слепая ненависть галицкого русизма! Не одну еще песенку вы сложите друг про друга. Музыкальный чех сочинит для нее музыку, а мудрый немец

приладит к шарманке славянские звуки, и под эти звуки в львовских и краковских пивных будет весело танцевать полупьяный австрийский вахмистр, прижимая к своему белому мундиру то румяную русинку, то грациозную польку.

Кстати о здешних женщинах. Я говорил только с тремя львовскими женщинами, одна из них была полька и две русинки. В существе, они все три польки, и по характерам, и по симпатиям, и по языку; разница только в вероисповедании. У русинов в Галиции нет ни своей аристократии, ни своего среднего класса. Русины, собственно, — крестьяне восточной Галиции да духовенство и небольшой кружок так называемой “русской интеллигенции”. Женщины, принадлежащие к этой “интеллигенции”, говорят постоянно на польском языке и учились по-польски. Теперь русины заводят уже школы для своих женщин и стараются дать им особое, непольское воспитание. Я не знаю, да, кажется, еще и никто не знает: каково будет это воспитание. В польской женщине отвратителен тот биготизм, который навязывают ей ксендзов-

ские теории, это правда; но и самая ее религиозность имеет свои прекрасные стороны, которых, напр<имер>, не имеют “скромные дочери нашей отчизны”, и я совершенно разделяю убеждения г. Еорженевского, “że polska kobieta zdąży wszędzie, gdzie ją poprowadzi ten, co ją wybrał i któremu podjęła się towarzyszyć”. [45] Дай Боже, чтобы русины могли также со временем сказать то же самое о своих женщинах, что сказал в приведенных строках польский писатель, переживший свою популярность, но не переживший своего прекрасного, симпатического таланта. Чтобы воспитать женщин в новом вкусе, нужно много умения и беспристрастия. Я глубоко поражен высоким умственным развитием русского духовенства во Львове и смею надеяться, что оно осторожно и обдуманно возьмется за воспитание девочек, которые будут первыми ученицами русских школ; но боюсь, чтобы воспитатели, увлекаясь своим, несколько нетерпимым патриотизмом, из желания отметить русскую женщину от женщины польской, не впали в крайности. Польское воспитание женщин имеет в себе много недостат-

ков, но сумма добрых сторон далеко превосходит эти недостатки. Верные и неверные жены есть везде, есть везде и дурные матери, но дело не в исключениях. Известные большинству славян системы женского воспитания создают по преимуществу или Гапку, способную троить водицы и варить запеканки; или ключницу Лукерью, или, что еще хуже, “наряженную куклу на самодельных пружинах”. Женщины всех этих трех категорий не годятся для того, чтобы разделять здравые прогрессивные стремления своего века; на их коленах не отдохнет спокойно голова сколько-нибудь развитого мужа; они не поддержат его словом и делом в минуту душевной невзгоды и не дадут отчизне детей, способных жить без жалости и умирать без страха. Мы, русские, или, как нас здесь называют, “россияне”, переживаем теперь эпоху “эмансипирования женщин”. Мы хорошо помним наших бабок и матерей, знаем семьи, где основа семейства тверда, благодаря отеческим преданиям, но где зато нет ни капли поэзии, без которой семья есть бремя, и знаем другие семьи, семьи новой организации, где все стремится врознь,

где мать — не мать и не жена, где “снявши голову, о волосах плачут” и где никогда не увидишь ни доброго мужа, ни веселых детей. Не дай Бог никому дожить до горького состояния народа, который, устами одного из своих лучших поэтов, вылил желчную жалобу на недостаток существ, способных вызывать глубокое и прочное чувство.

*Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.*

Если есть на свете уже готовая женщина, которая “zdaży wszędzie, gdzie ją poprowadzi ten, co ją wybrał, któremu podjął a się towarzyszyć”, то грешно не вникнуть в систему воспитания, приготовившую такую женщину, и не стараться усвоить себе все, что есть в ней хорошего. Ничего нет легче воспитать женщин так, что они не будут подходить к этому образцу и будут совершенно “в особом роде”; но что же от этого выиграет народное счастье? Чем усыпят свою совесть учителя, когда в семьях, куда их воспитанницы придут женами, не будет ни спокойного му-

жа, ни веселых детей? Да, я очень боюсь, чтобы русины галицийские не перепрыгнули через коня, на которого они садятся. Не следует же непременно ходить в лаптях из-за того только, что сапоги шьет сосед, обижающий меня своею надменностью. Лучше поучиться самому шить сапоги. Я в Пинске видел русские семьи с женами, воспитанными в польских школах, и... да дай Бог мне чаще встречать такие семьи! Впрочем, от всего сердца желаю, чтобы молодое женское поколение галицийских русинок выросло, расцвело и пошло замуж со всеми способностями понять и разделить благородные стремления своих мужей.

Женщины во Львове могут наслаждаться гораздо большей свободой, чем у нас в образованном Петербурге и матушке Москве белокаменной. Бульвар по улице короля Лудовика усеян женщинами с самого обеда до 11 часов ночи; даже и позже мелькают женские фигуры, но никто к ним не пристаёт, как у нас, где честной женщине нельзя показаться на улице, чтобы не услышать тотчас же самых интимных предложений. Здесь женщины гуля-

ют свободно и никто их не трогает, несмотря на то, что Львов особенно изобилует женщинами, торгующими своею красотой. У полек и этот промысел, блистательно защищенный некоторыми экономическими писателями, практикуется как-то гораздо благообразнее. Львовская камелия не бросает по сторонам наглых взглядов, не толкает нарочно локтем, не заговаривает с прохожим, как наша невиская камелия, а гуляет себе пристойно, таким же шагом, как и прочие, и нужно обладать польскою ловкостью, чтобы, сохраняя все наружное приличие, все-таки дать заметить, что если вы пойдете за нею в десяти шагах, то, войдя в одни ворота, она вам тихонько шепнет: “proszę”[46] и... расстояние совсем исчезнет. Камелий, разъезжающих в колясках, на собственных рысаках, здесь нет, но нет и домов, где гнусные спекулянты опутывают несчастную женщину долгами и наживаются от нее. Первое здесь невозможно, потому что страшная конкуренция необыкновенно сбивает цену, а эксплуатация женщин спекулянтами в том виде, как это известно у нас, не допускается австрийской полициею.

Больше уж, кажется, записать о Львове нечего... Да! Во-первых, я должен вступиться здесь за честь моей родины, оскорбленной г. Головиным в изданных им лекциях "О френологии". В этой тоненькой книжечке, за которую г. Вольфганг Гергард дует очень толстые деньги, сказано, что мы, русские, не можем похвалиться изобретательностью, потому что вся она ограничивается изобретением самовара. Это несправедливо. Мы еще изобрели ручной насос со стержнем, и Европа сделала бы очень хорошо, если бы усвоила себе наше второе изобретение. Чаю здесь пить невозможно, потому что его варят в кофейниках; но это еще ничего: не единым чаем человек жить может; но как жить, не умываясь? А умываться здесь русскому человеку решительно невозможно.

Во всех гостиницах дают продолговатую фарфоровую или глиняную лоханку, а при лоханке графин с водой, и больше ничего. Из графина наливают воду в лоханку, и полощете в ней свою физиономию.

Очень хорошо было бы, если бы поляки завелись нашими калужскими умывальника-

ми.

Краков.

Из Львова поезд отходит рано утром, и потому билеты в омнибус, который довозит до станции железной дороги, берутся с вечера. Утром омнибус едет и забирает пассажиров. Не знаю, забирает ли он пассажиров, живущих в отдаленных улицах города, или только по улице короля Лудовика. Меня разбудили в пять часов; я оделся, взял мой дорожный мешок и отправился за ворота. На дворе было еще темно. В дилижансе сидел чахоточный господин в конфедератке, дама с кошачьим выражением лица, господин с толстым брюхом и другая дама с толстым мешком на коленях. Последняя пара сидела друг против друга, и мешок дамы образовывал одну плоскость с брюхом ее противного соседа. Я занял место у самой двери, и еще оставалось одно место, на которое имел право мой товарищ, по обыкновению всегда начинающий кормить своих собак тогда, когда нужно выезжать на охоту. Ждали мы его долго, и за это чахоточный господин пять или шесть раз принимался посылать ему по “триста дьяво-

лов”. Однако приехали на железную дорогу еще вовремя и благополучно выехали в вагоне второго класса. Сочинение Гендшеля опять оказалось несправедливым ни в указании цен, ни в обозначении срока отхода поезда. Вагоны второго класса на Краковско-львовской железной дороге много лучше вагонов этого же класса на наших дорогах. Особенно умно прилажены лампы. Каждая лампа помещается в перегородке, разделяющей два купе, и заключена, как орех в скорлупе, в стеклянном шаре, защищающем пассажиров от копоти и дурного запаха, а лампу от всякого незваного вмешательства в управление ею. Когда молитва столинского раввина и всех подведомых ему пинских скакунов будет услышана и от Пинска начнут строить железную дорогу к Белостоку, тогда я непременно напишу два рассуждения. В одном постараюсь последовательно развить мысль влияния, какое могут иметь на петербургскую публику пинские скакуны и трава “любчик”, которую мещане м<естечка> Давид-городка, вероятно, доставят в достаточном количестве, а в другом будет доказано, что на литовской железной дороге

непременно должно устроить такие лампы, как на Львовско-краковской, а не такие, как на Петербургско-варшавской. В последнем рассуждении я буду приводить весьма много аргументов, из которых будут наиболее сильны аргументы, так сказать, нравственные. Я надеюсь убедить почтенных учредителей общества литовской железной дороги в необходимости рекомендуемых мною ламп в видах сохранения общественной нравственности, ибо, начав с изложения вредного влияния, производимого правлением Петербургско-варшавской и Петербургско-московской железных дорог на нравы людей, непосредственно заведующих освещением вагонов, я дойду до исчисления различных побуждений, развиваемых в человеке различными степенями света. Тут будет несколько наблюдений, произведенных самым ближайшим образом при ярком освещении, в полусвете и в совершенной темноте, когда ветер задувает свечу, оставляя мужчину не старше 30 лет и женщину, “стоящую выше всех предрассудков”, единственными обитателями восьмиместного купе. Далее идти мне уж не позволит цен-

зура, охраняющая нравы нашего племени от тлетворных идей развращенных вольнодумством публицистов и поэтов.

Моя соседка, молоденькая дама, встала с своего места и указывает двум девочкам на высокую земляную насыпь, виднеющуюся вправо. “Это нашей Ванде насыпали”, — говорит она, вспоминая честную красавицу, отвергшую руку, за которую схватилась бы любая нимфа другой страны. И всю-то эту историю, со всеми вероятными и невероятными примечаниями, она повторяла девочкам, с жаром, с чувством восторженного патриотизма.

— А вот тут, смотрите влево, видите? Это могила Костюшки. А кругом ее, видите, стены? Это австрияки строят крепость. Теперь уж нельзя ходить на могилу, а скоро ее не будет и видно.

И опять дети внимательно слушают историю народного героя, и по их умным глазенкам видно, как глубоко падают семена в молодое сердце.

Зачем ты, о Бларамберг, не устроил по варшавской линии амбаркадеров, способных так

же скоро оглушать, как наделять самым прочным катаром? Я не слыхал бы, что говорит эта мать своим детям, и не вспомнил бы страны, где большинство так называемых образованных женщин произносят слово “история” только с прилагательным “скандальная история”, а другая, гораздо меньшая, пресерьезно утверждает, что у их страны нет истории; что из всех двенадцати томов отечественного историка нельзя ничего вычитать, кроме покоряющихся сцен варварства и рабства. А спросите их, читали ли они хоть один том своей истории? Знают ли хоть одну из ее драматических страниц? Сумеют ли хоть о Марфе Посаднице рассказать что-нибудь своим детям, как рассказывает моя соседка о Ванде и Костюшке?

Однако дремлется с дороги, и постель смотрит привлекательно.

Кстати о постелях. Со Львова дают очень чистые постели. Матрасы мягкие, простыни и наволочки чистые, и одеяло подшивают чистой простыней тут же, как дают постель.

Примечания

1

Сладостное безделье, ничем не заполненный
досуг (Итал.)

[^^^]

Прощайте (Франц.)

[^^^]

До свидания (Польск.)

[^^^]

Например? (Франц.)

[^^^]

Кстати (Франц.)

[^^^]

В самом деле? (Франц.)

[^^^]

Извините! (Польск.)

[^^^]

Что? (Польск.)

[^^^]

Я ничего не понимаю (Польск.)

[^^^]

Извините (Польск., искаж.)

[^^^]

Сейчас, господин! (Польск.)

[^^^]

12

Сейчас, сейчас, дам (Польск.)

[^^^]

Т. е. “на телеге?”

[^^^]

Подло, низко (Франц.)

[^^^]

На лошадях

[^^^]

См. “Свiety Piotr” в Гауѣдах року 1861. Вiлно

[^^^]

“Гостынец” — большая торная дорога. Так говорят от самого Вильна.

[^^^]

См. Forster, Hist. Naturelle. T. XIX.

[^^^]

“Zdaje się więc, że tu był przynajmniej od unii z Litwą, myśliwski dwor, czyli zamek, drewniany Królów polskich, który od bielejących się wież swoich nazwany być mógł “Białowieżą”, od czego i cała puszcza wzięła swe nazwanie”.

“Starożytna Polska”, opisana przez Michała Balińskiego. Warszawa, r. 1846. Tom III, str. 777

[^^^]

“Осокою” называются крестьяне, обязанные, по требованию беловежского лесного начальства, исполнять разные работы по лесу: косить траву, метать стоги, гасить лесные пожары и проч.

[^^^]

Рассказ этот оказался справедливым. В селе Езерах, у помещика Валицкого, от зубра и коровы получился приплод женского пола.

[^^^]

Говорят, что корова была свирепа. Телкой ее дразнили, а потом стали бояться, особенно с новотела, когда она рвалась к своему теленку, и, конечно, дурно выдаивая, испортили.

[^^^]

Никакой новый обычай, никакая
мысль
Ни речи их, ни даже внешнего по-
крова не изменила;
Никакой новый дух века не силил-
ся
Изменить ни биение сердца, ни
песни размер.
Те же, что и в старину; кафтаны
и бороды
Носят и теперь славянские наро-
ды,
Такие же секиры, которыми сва-
ливают дуб;
Такие же церкви, в которых Бога
хвалят;
Точно так же их укрепляет и мед,
и снадобья, и рыба.
Ничего тут не прибыло — разве
горя немного...

“Хотел начать от того, как выехал из Пружан; но кто же из вас, любезные читатели, так силен в географии, что знает о существовании Пружан?”

[^^^]

“Воспоминания о Полесье, Волыни и Литве”
(Польск.)

[^^^]

Кнутик

[^^^]

Сбруя, прибор, снасть.

[^^^]

Работа гвалтом — поголовная работа на пана, сверх обязательной тягловой работы. Чиншевые крестьяне тоже несколько дней в год обязаны были работать помещику гвалтом; но почему обязаны были гвалтом работать на пана пружанские мещане — старик не мог объяснить.

[^^^]

Первое издание этого сочинения вышло в Вильне, в начале сороковых годов, а второе, с небольшими поправками, с политипажамы в тексте, издано в Париже.

[^^^]

Букварь (Польск.)

[^^^]

Монастырь, от немецкого слова Kloster

[^^^]

Ксендз Викентий Францишкан, первый проповедник, первый гвардиан (начальник монастырской братии) и настоятель, окрестивши князя Сигизмунда и многих других обращенных ко Христу, сам окончил свою жизнь около 1369 г.

[^^^]

См. “Ревизор”, комедия Гоголя

[^^^]

Пинские болота

[^^^]

Вот как водится на свете.

[^^^]

Особенный род судов

[^^^]

Из Ружана

[^^^]

Рейнский талер, или флорин

[^^^]

От слова “трусить”, “трясти”

[^^^]

40

1 рубль=171 крейцеру (по сегодняшнему бродскому курсу)

[^^^]

*Поезжай хоть на край света, —
Одно достоинство и цена одна,
Будь то Hund немецкий, русская
собака
Или польский pies.*

(Злочев, 14 октября 1862 г. (Польск.)

[^^^]

Приложение к № 60 (Полъск.)

[^^^]

Мы, господин Яков, сами виноваты в нашей гибели.

[^^^]

“Maria” Malczewskiego.

И долго, и далеко слышен топот копыт, потому что на пространных полях воцарилось молчание; не слышать ни веселой шляхты, ни рыцарских голосов; только ветер шумит печально, наклоня колосья; только раздаются стоны из-под травы тех, кои почили на поблекших венках прежней своей славы...

[^^^]

...“что польская женщина сумеет <последовать> всюду, куда ее поведет тот, кто ее выбрал и кого она взялась сопровождать”
(Польск.)

Wyprawa po żone Józefa Korzeniowskiego,
tom II, str. 186 (“Выбор невесты” Иозефа Корженевскогр, том II, стр. 186)

[^^^]

Прошу; пожалуйста (Польск.)

[^^^]